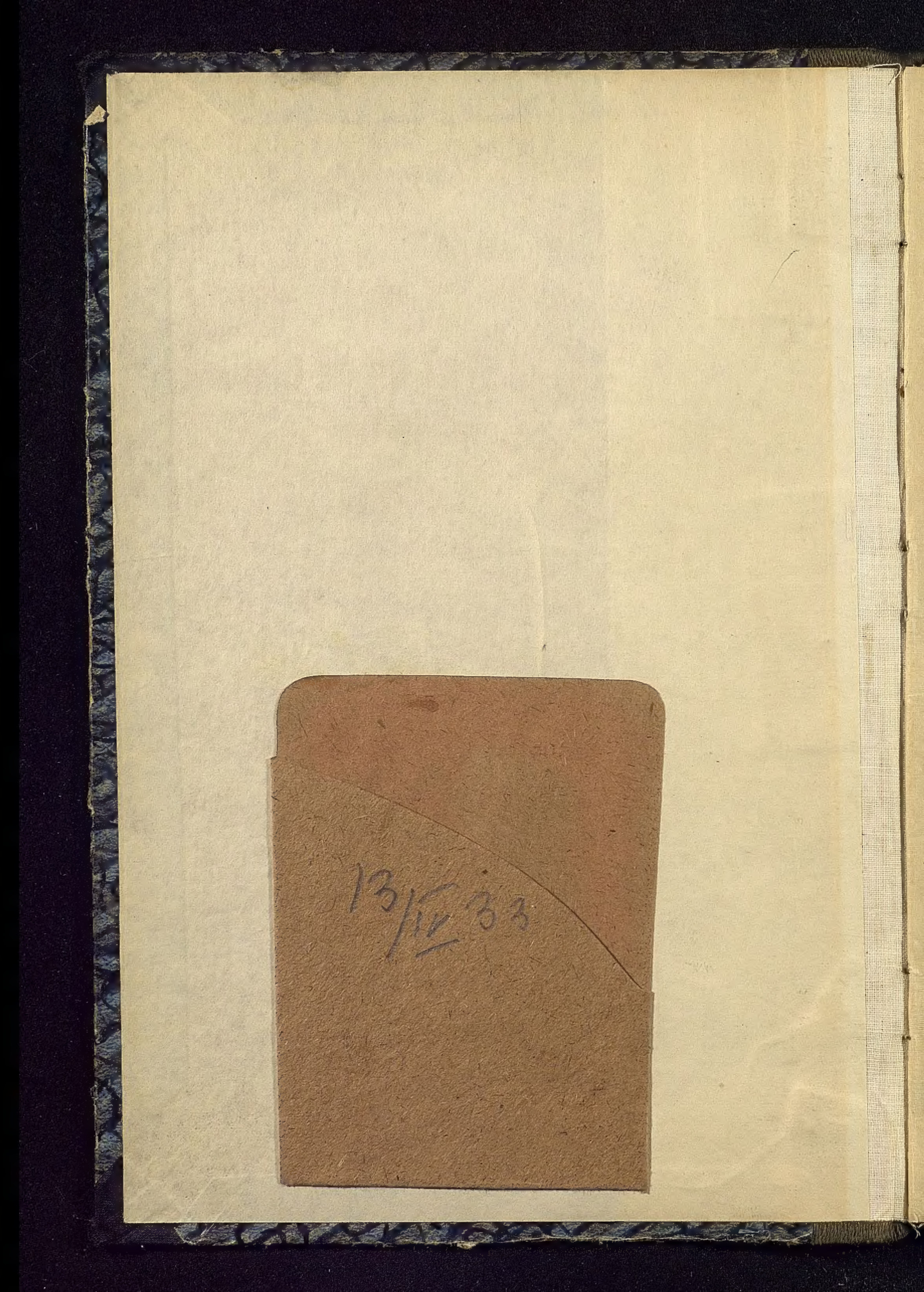

13/IV 33

А. КОЛЛОНТАЙ

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА 1914 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1925

ЛЕНГИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАД: Дом Книги, Проспект 25 Октября, № 28. Тел. 132-44, 570-14; Просп. 25 Октября, 13; Просп. Володарского, 53-а.

МОСКВА: Тверская, 51. Телефоны 3-92-07, 4-92-31.

ВОСПОМИНАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Аграрный вопрос в совете министров (1906 г.) — (Материалы по истории крестьянских движений в России) под редакцией Б. Б. Веселовского, В. И. Пичета и В. М. Фриче. Вып. IV. Стр. 178. Ц. 1 р. 20 к.

Аксельрод, Л. П. — Этюды и воспоминания. (Печатается и вскоре выйдет в свет).

Барт, Эмиль. — В мастерской германской революции. Пер. с нем. С. Крицман. С предисловием Я. Вальхера. Стр. 204. Ц. 1 р.

Бебель, А. — Из моей жизни. (Печатается и вскоре выйдет в свет новым изданием).

Бисмарк, О. — Вильгельм II. Воспоминания и мысли. С пред. М. Павловича. Стр. 175. Ц. 75 к.

Борьба за Петроград. — 15 Октября—6 Ноября 1919 г. Стр. 279. Ц. 2 р.

Браун, Лили — Роман моей жизни. (Мемуары социалистки). Перев. с нем. З. Журавской. Т. I. Изд. 2-е. П. 1919. Стр. 363. Ц. 50 к.

Ее же — Роман моей жизни. (Мемуары социалистки). Перевод с немецкого З. Журавской. Т. II. Изд 2-е П. 1919 Стр. 371. Ц. 50 к.

Витте, С. Ю., гр. — Воспоминания. Царствование Николая II. Том I. Стр. XVII+471. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 75 к.

Его же. — Воспоминания. Царствование Николая II. Том II. Стр 518. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 75 к.

Его же. — Том III. Детство. Царствования Александра II и Александра III. (1849-1894). Стр. XVI+395 Ц. 3 р.

Владимирова, Вера. — Революция 1917 года (Хроника событий). Том IV. Август-Сентябрь. Стр. 422. Ц. 3 р. 50 к.

Власова, О. И., Е. М. Орловская и И. Г. Бендер. — Первомайские прокламации. Библиографическое описание. Под ред. С. Н. Валка и А. А. Шилова. Стр. 95. Ц 1 р.

Волконская, М. Н., кн. — Записки. Вступительная статья и примечания П. Е. Щеголева. Стр. 72. Ц. 50 к.

Восстание на броненосце „Князь Потемкин-Таврический". — Воспоминания, материалы и документы. Под редакцией и со вступительной статьей В. И. Невского. Стр. 368. Ц. 3 р.

Вудро Вильсон. — Мировая война. Версальский мир. По документам и запискам председателя Американского Комитета печати на Версальской конференции Стэннарта Беккера. Перевод А. Н. Карасика. Предисловие Мих. Павловича. Стр. 451. Ц 1 р. 50 к.

Генкин, И. — По тюрьмам и этапам. Стр. 486. Ц. 2 р.

Гинцбург, Илья. — Из прошлого (Воспоминания) С портретом автора и 9 снимками. Стр. 183. Ц 1 р.

Горев, Б. И. — Из партийного прошлого. Воспоминания 1895—1905. Стр. 91. Ц 50 к.

Историко Революционный Сборник. — (Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП.) Под ред. В. И. Невского. Том первый. Стр. 247. Ц. 2 р. 20 к.

Кайо, Ж. — Куда идет Франция. Куда идет Европа. Перевод с французского А. Сперанского. Вводная статья М. Павловича. Стр. 208. Ц. 85 к.

Курлов, П. — Конец русского царизма. Воспоминания бывшего командира корпуса жандармов. С предисловием Мих. Павловича. Стр. 296. Ц. 75 к.

Лемке, Мих. — 250 дней в царской ставке. (25 сент. 1915—2 июля 1916). Стр. XVIII+859. Ц. 1 р. (в пер.)

Ленинградские рабочие в борьбе за власть Советов. — 1917 г. (Статьи, воспоминания и документы). (Печатается и в скором времени выйдет в свет.)

Лепешинский, П. — На повороте. (От конца 80-х годов к 1905 г.) Попутные впечатления участника революционной борьбы. Стр. 237. Ц. 70 к.

Материалы для истории антиеврейских погромов в России. — Т. II. Восьмидесятые годы (15 Апреля 1881 г.—29 Февраля 1882 г.) Под редакцией и со вступ. статьей Г. Я. Красного-Адмони. Стр. XXXII+542+V. Ц. 3 р. 50 к.

Новорусский, М. В. — Записки Шлиссельбуржца. 1887—1905. С портретами и рисунками. Стр. 245. Ц. 60 к.

Носке, Густав. — Записки о Германской революции. (От восстания в Киле до заговора Каппа.) Пер. с нем. Г. Гордона. Стр. 176. Ц. 40 к.

Палеолог, Морис. — Царская Россия во время мировой войны. Перевод с французского. Предисловие М. Павловича. Стр. 316. Ц. 1 р.

Его же. — Царская Россия накануне революции. Перевод с французского Д. Протопопова и Ф. Ге. Стр. 472. Ц. 1 р. 60 к.

Памятники агитационной литературы Росс. Соц.-Демокр. Раб. Партии. — Т. VI. (1914—1917). Период войны. Вып. I. Прокламации 1914 г. Стр. 355 Ц. 2 р.

Переписка Николая и Александры Романовых. — 1914—1915 г.г. Том III. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. XXXIV+524. Ц. 5 р.

Победоносцев, К. П., — и его корреспонденты. Письма и записки. С предисловием М. Н. Покровского. Том I. Novum Regnum. Полутом I. Стр. XIV+439. Ц. 4 р.

Победоносцев, К. П., — и его корреспонденты. Письма и записки. С предисловием М. Н. Покровского. Том I. Novum Regnum. Полутом II. Стр. 445—1147. Ц. 5 р.

Прибылев, А. В. — В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма. Из воспоминаний народовольца Стр. 79. Ц. 60 к.

Пурталес, гр. — Между миром и войной. Воспоминания бывшего германского посла в России. Перевод с немецкого М. Алексеева. Предисловие В. Кряжина. Стр. 80. Ц. 50 к.

А. КОЛЛОНТАЙ

ОТРЫВКИ
ИЗ ДНЕВНИКА
1914 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

Государственное Издательство
Типография имени
Н. Бухарина
Ленинград

Ул. Моисеенко, д. 10.

Гиз. № 10214. 7.000 экз. Ленинградский Гублит № 11010.

КОЛЬГРУБ.

24-го июля 1914 г.

...Мы здесь третий день. Стоит необычайно холодная для июля погода. Ледяные ветры с гор. Одеваем все, что есть теплого. Мерзнем. Газеты приходят с опозданием. Приходится жить растительной жизнью. Дописываю статьи для женской конференции в Вене. Тезисы отосланы. Странное состояние безразличия. Не хочется ни двигаться, ни думать, ни волноваться...

Суббота 25-го, вечером.

...За обедом принесли газеты. Австрия объявила Сербии ультиматум. Против нас сидят две жены офицеров из Пруссии. Уверяют, что „die Lage wird ernst“. Офицерские жены вечно грезят войнами...

26-ое.

Нет, что-то тревожное нарастает. Газеты серьезно пишут о войне. Обидно, что читаем запоздалые новости. Кругом говорят о возможном вмешательстве Германии, об осложнениях с Россией. Конечно, это все больше толки „курортных обитателей“, но со вчерашнего вечера в Кольгрубе вдруг стало тревожно и неуютно... Некоторые курортные гости решили уехать во-свояси. Как-то не верится в возможность войны. Никто ее не хочет. С кем ни заговоришь, все считают, что это было бы „der grosste Unsinn“ (величайшее безумие).

Курортная жизнь идет своим чередом. Барышни танцуют, „грузные тети“ сплетничают. Смешно наблюдать, как все стараются друг друга уверить, что война невозможна. А на душе все же тревожно и все будто чего-то ждут. Или это мне только так кажется?..

28-ое.

Сегодня знаменательный инцидент за кофе. Одной из офицерских жен, что сидит против нас, подают телеграмму. Она взволнованно вскакивает и уже не возвращается к столу. Через час обе офицерские жены уезжают на поезд. Их про-

вожают тревожно-вопрошающими взглядами. Всем ясно — отъезд их связан с войною... И все-таки не верится, не верится в возможность такой компликации!..

В газетах (правда, запоздалых) тон успокоительнее. Англия предлагает свое вмешательство. „Красивый жест" лорда Грея, много „гуманных фраз"...

...„Военные действия между Австрией и Сербией начались. Значит война—факт?"...

...Кругом голоса: на что нам воевать с Россией? Кому это нужно?

...Письма из России ни словом не упоминают о возможности войны. Пишут о другом, актуальном, захватывающе-важном: стихийное стачечное движение. Баррикады. Аресты не уменьшили размаха движения... Интересное письмо от А. (Шляпникова). Приезд Пуанкаре в Питер лишь подливает масла в огонь. Русский пролетариат сознательно показывает главе французского правительства, что в воздухе пахнет революцией, что можно ждать новых выступлений... Ни слова о мобилизации, о подготовке к войне...

28-ое, вечером.

Только-что вернулись с прогулки на озеро Штарнберг. Мирно, невозмутимо в долине. В деревнях—ни звука о войне. Местное население занято своими обычными будничными делами. На станциях благодушно-отдохновенное настроение, „каникулы". День сегодня теплый, хотя и серенький...

29-ое.

Газеты и почта из Франции полны импозантными демонстрациями в Париже. Бульвары запружены рабочими. Аресты, избиения. Столкновения с полицией. Рабочие оттеснены на юг Парижа, в рабочие предместья... Значит, серьезный отпор войне?

Но почему у нас молчок? Почему ничего не пишут о Вене? О том, что собираются делать соци в Германии? Где протесты, где отпор, которыми обещали встретить угрозу войны? Или газеты сознательно умалчивают о событиях? Жду нетерпеливо вестей из Берлина, чтобы решить, что делать дальше.

Четверг, 30-го июля.

... В Брюсселе экстренное заседание Соц.-Инт. Бюро. Идут митинги за мир. Газеты полны противоречивых сообщений. Не то надежда на Англию и ее вмешательство, не то неизбежная война. Говорят о поездке брата русской царицы — герцога Гессен-Дармштадтского в Россию для оказания соответствующего воздействия на царя... У местных газет тон такой, будто Германия войны не желает, но русский царь готовит орудия против Германии.

А наши молчат. Из Берлина писем нет...

Вечер, 30-го.

Война—факт, реальность. Это я почувствовала только сегодня, когда прочла о гибели беглецов из Белграда... Жертвы войны, ужасы войны... Ярко всплывают в памяти рассказы тов. Ст. (Стомониакова) об ужасах войны на Балканах два года тому назад. „Какова бы ни была цель войны, ужасы так непередаваемо-велики, что ей и не может быть оправдания". Таков был вывод из его рассказов. Вчера война казалась кошмарным сном, сегодня я чувствую ее явь... И все-таки не верю в нее, не охватываю, не осязаю...

К вечеру в Кольгрубе настроение у всех нервное, напряженное. На душу ложится неотвязная, душная тревога. Какое-то странное, незнакомое чувство беспомощности, будто перед силой стихийного, природного бедствия.

Ничего не понимаю, почему с-дки до сих пор не выпустили ни одного воззвания? Почему ничего не слышно о рабочих демонстрациях в Германии? Шевелятся же, борются же в Париже!...

...Опять сегодня типичный инцидент. Идем к обеду. В дверях столовой курортные гости окружили высокого господина в штатском. Он машет телеграммой и нервно объясняет: „Ja, ja, wir machen mobil" (Да, да, мы мобилизуем). Он—прусский запасный офицер, его срочно вызывают на место службы. Вчера его предупредили быть готовым выехать, в случае призыва Сейчас—вызывают. Срочно. Значит—мобилизация?

Сообщение вызывает смятение. Летят телеграммы во все концы мира. Контора кургауза заполнена гудящими курортными гостями. Идут сборы к отъезду. Настроение странно-душное. Будто нелепый давящий сон.

Война между Россией и Германией? В центре Европы? В XX веке? Разум не вмещает.

31-го.

...Письмо из Брюсселя от Ш (т. Шадурской). Бельгия дышит войною. Русские деньги не меняют. Биржа закрыта. Социалистическая манифестация прошла под сдержанно-сосредоточенное настроение, без подъема.

„Что это"?—пишет Ш.,—„праздник ли мира, или признание своего бессилия удержать надвигающуюся войну? У меня чувство, будто я присутствовала не на демонстрации, а на похоронах... Хорош был лишь Жорес. Но его голос не преодолел общего тона подавленности и какого-то похоронного бессилия"...

Телеграмма от Инт. Бюро: перенос Социалистического Конгресса в Париж или Швейцарию. Созыв Конгресса ускоряется.

Но в Германии — тихо. Чего же партия ждет? Почему медлит? Тон „Форвертса“ (приходит сюда с большим опозданием) совсем не боевой. Будто все еще выжидают. Чего? Ведь, уже война — факт!..

...Утром сегодня уехал тот прусский офицер, что получил вчера телеграмму. Он не уехал вчера. „Кто знает, что ждет там? Я хотел провести еще одну ночь в спокойной обстановке“, — его слова, когда мы утром за кофе с ним разговорились. Он не один, с „кузиной“. Она — сестра милосердия. Глаза заплаканные сегодня. Тоже едет с ним.

„Мобилизация еще официально не объявлена. Но фактически — она есть“. И опять, как и все кругом, возмущался возможностью войны с Россией. „Наши германские интересы связаны с Россией. Es ist Wahnsinn, reiner Wahnsinn. Война в XX веке! И из-за чего? Из-за какого-то 3-миллионного народа!“

Он знает, что я русская. Но почему-то прощаемся подчеркнуто-тепло. Оба выражаем друг другу желание, чтобы гроза миновала!..

У „кузины“ слезы на глазах...

В газетах (от 30-го) явные признаки неизбывности конфликта между Германией и Россией. Пишут о том, что Россия мобилизуется. Тон враждебный. „Готовят“ общественное настроение...

А соци — молчат...

...31-го — поезд — Мюнхен.

Едем в Берлин. Дальше ждать вестей невозможно. Хочется быть ближе к центру. Уяснить на месте, что предпринимается партией? Какие дальнейшие шаги? Оторванность нестерпима.

Уехать решила внезапно. Встретила в коридоре растрепанную русскую даму в полуодетом состоянии с телеграммой от мужа: зовет в Берлин, чтобы спешно ехать в Россию. И это мне вдруг с очевидностью показало, что события разворачиваются с невероятной скоростью.

Когда, собравшись в какой-нибудь час, уезжала из Kohlgrub'а, война казалась вдруг неизбывной. Но сейчас, в вагоне, мне снова не верится в реальность этого ужаса. Такой сейчас ласковый, солнечный, улыбающийся июльский день. После серых погод и ледяных ветров — он особенно ласкает и радует душу. В поезде пусто. На станциях — туристы в тирольских шляпах, с горными мешками за плечами... Девицы-баварки с розовыми, упругими щечками и веселыми глазами... Все так мирно, благодушно на фоне зеленых склонов гор... При чем тут война?... Пахнет травой, воздух горно-чистый, легкий, живительный...

...Скоро Мюнхен. На станции Мурнай (узловая станция на Австрию) в поезд понасело много новых пассажиров. Все мужчины. Кругом только и речи, что о войне. Лица озабоченные, хмурые. Воодушевления не вижу. Войне никто не сочувствует. Многие еще надеются, что все обойдется.

Купила „Форвертс“. Опять этот чересчур „абстрактный“ тон. Была уличная демонстрация на Unter den Linden 28-го. Но, очевидно, неудачная. По Берлину обычные 32 Volks-Versammlungen (рабочие собрания). Но больше, чем обычные, протесты против вздорожания свинины. Ни одного воззвания, ни одного призыва от партии, ни одного живого слова, которое звало бы рабочих дать отпор... Когда же они начнут действовать? Ведь война уже тут... Надо использовать всех этих мобилизуемых, надо бросить сейчас пароль, именно сейчас, пока еще угроза только надвигается. Медлительность форштанда не имеет сейчас оправдания. Тут нельзя „совещаться“, надо делать.

...В номере от 29 „Форвертса“ передовая указывает на лицемерие заверений Австрии и Германии о том, что Сербо-Австрийский конфликт должен остаться „локализированным“. Война между Сербией и Австрией неминуемо повлечет за собою мировые осложнения. Вмешательство России неизбежно. Политика России потребует, чтобы она не оставила „родственную“ ей страну без поддержки. „Форвертс“ бросает упрек Австрии за вызывающее поведение, за явный вызов России. „И с таким союзником Германия хочет итти durch Dick und Dünn?“

„Форвертс“ отмечает, что „наша страна“ не хочет войны. Что значит „страна“? При чем страна. Почему не просто „рабочие не допустят войны“? Отмечается, что Россия будет избегать войны, так как боятся ее неизбежного последствия — революции. Но тут же „Форвертс“ пугает Германию: но пусть страна наша помнит, что война еще не означает конец царизма и пусть Германия бережется от опасности вторжения „темной“ России... К чему это? В этом — привкус шовинизма...

С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы повидать наших и узнать, что же думают делать дальше?...

Вагон переполнен мужчинами. Кажется, все мобилизованные. Многие жалуются на тесноту, на жару... Люди, „культурные люди“ XX века, избалованные удобствами, как перенесут они страдания войны? Ее неурядицы, ужасы?...

1-ое августа. Grunewald (Груневальд — округ Берлина).

Ночь, первая ночь неотвратимого события — „Kriegserklärung“.

...Объявлена война. День сгущенных переживаний. О сне и думать нечего. Утром, когда мы приехали из Мюн-

хена, Берлин еще весь противился войне, протестовал в душе, надеялся... С каждым часом надежда слабела. К вечеру, вместе с сумерками, прорвался неожиданный, кликушествующий патриотизм...

„Народ требует войны!“

Народ? Тот самый народ, который вчера еще всеми фибрами противился войне? Народ, что ехал на призыв о мобилизации с мрачным лицом, с заботой и нескрываемым осуждением к политике кайзера?...

В семь часов по улицам разносятся ликующие возгласы: „Wir machen mobil“! (Мы мобилизуем.) Почтальон, мирный почтальон Груневальда, срывает шапку и кричит вызывающе, будто кому-то грозит: „Wir machen mobil“... (Мы мобилизуем.)

Проносится серый автомобиль и разбрасывает по аллеям Груневальда листки. Kriegserklärung“... (Объявление войны.) Война с Россией объявлена.

И что-то в сердце болезненно сжимается и кажется, что кругом становится темно...

Вот он, этот ужас, что надвигался, как душный кошмар все эти дни. Мировая война... Это не угроза больше, это—факт, реальность.

Я ее почувствовала не умом, а нутром, вчера еще, в Мюнхене. Мюнхенский вокзал, всегда такой празднично-оживленный, нарядный, был неузнаваем. Не вокзал, а муравейник. Толкотня, поток людей, шум... Платформа запружена багажом. Носильщиков не дозовешься... Люди снуют туда—сюда. У всех вид какой-то озлобленно-растерянный.

Справляемся: меняют ли русские деньги?

„Русские деньги? Нет“. И окошечко менялы захлопывается. На поезд, идущий в Берлин, билетов нет. Но идут экстренные поезда ночью. С трудом, при помощи начаев носильщику, достаем билет на последний ночной поезд. Дальше—пассажирское движение прекращается.

Площадь. На стенах плакаты: Все границы, за исключением швейцарской—Линдау—закрыты. Рядом правительственное сообщение: Германия объявлена на военном положении. Сказано, однако, что это еще не есть мобилизация.

На улицах густая, молчаливая, сосредоточенная толпа. Вся выжидательная. Настороженная.

Банки не работают. Но магазины открыты.

Наш поезд уходит в 12 ночи. Надо убить несколько томительных часов. Покупаем газеты и идем в Английский парк.

Точно вышли за круг сгущенной атмосферы тревог, что рождает угрозы войны. Так дивно в парке. Много детей, нарядная публика. Парочки. И опять не верится в войну.

Но стоит выйти на людную артерию города и сразу охватывает жутко-душное ощущение нависшей угрозы... Тяжесть, от которой трудно дышать. Нет проявлений внешней враждебности к нам, русским, но какое-то неуловимое ощущение, что мы здесь „Fremde" и что если вся эта молчаливая, сосредоточенная толпа зашевелится,—в ней заговорит зверь тупого шовинизма и значит, ненависти к нам, врагам, русским...

Чтобы убить время, заходим в кинематограф. Пусто здесь. Почему-то идет „военный фильм": сражение, взятие крепости. Будто готовят к неизбежному. На душе все нуднее. Но вчера, вчера еще верилось. Интернационал не допустит до этого! Партия что-то готовит!.. Сегодня я знаю, что партия сама растерялась, что она ничего не готовит, что события сильнее ее. В этом весь ужас. Ужас, которому нет слов.

Вчера, в кинематографе, угнетала пассивность перед событиями. Спешила сюда, чтобы встать на работу. Сегодня, после всего, что видела, мне ясно, что этой работы никто не делает... Все растеряны, подавлены, ошеломлены. И пассивны. Говорят сами, что это Wahnsinn и разводят руками... В этом что-то оскорбительно-нелепое... Эта пассивность страшнее факта войны. Ведь надвигается лавина крови и ужасов!...

Уже сейчас жизнь резко изменилась. Я поняла, что несет с собою война. вчера на вокзале в Мюнхене, когда часовой механизм железнодорожной жизни вдруг превратился в хаос. Шли три экстренных поезда один за другим. Но в густой гудящей толпе, на платформах, заваленных багажом, среди отъезжающих мобилизованных — царило полное смятение. Никто не знал, в какой поезд садиться? Какой поезд идет раньше? Вагоны запружены людьми, в корридорах не протолкаться. Занимаем места, а носильщик с вещами — исчез. По неосмотрительности, все мои бумаги, документы, паспорт Миши—все в ручном чемодане. Бросаемся на поиски носильщика. Но разве сейчас до таких мелочей, как чей-то багаж? Лица у железнодорожного персонала тревожно-злобные. Отдают распоряжения охрипшими голосами. Пассажиры мечутся, давят друг друга...

За две минуты до отхода поезда решаем выскочить из вагона, чтобы отыскать носильщика с вещами и документами.

— Не вылезайте! А то совсем здесь останетесь. Больше поездов не будет! — кричит кондуктор, захлопывая дверцу вагона.

Поезд трогается. И вдруг — носильщик! Хватаем чемоданы через окна на ходу поезда. Настает минута прострации. Без документов—сейчас невозможно оказаться.

Всю ночь сидим в темноте Только и говору, что о войне. Причины войны, ее мировые, экономические причины

ускользают. Видят лишь внешний, формальный повод: Сербию. Коммерсанты, побывавшие в России, сетуют на возможность разрыва с Россией. „Хороший рынок“.

Женщины полны тревогой за сыновей и мужей. Еще верят: обойдется. Минует угроза... Долгая, смутная, тяжелая, душная ночь...

Поезд наш приходит в Берлин утром, с опозданием на час.

На вокзале порядок. Нет ни сутолоки, ни толчеи, как в Мюнхене. Поражает лишь груда багажа, сваленного прямо на платформу.

Справляемся в справочном бюро, идут ли еще поезда на Россию? Хочу немедленно отправить Мишу. Ответ лаконичен: все границы закрыты.

Едем к себе в пансион (в Груневальд).

Солнечный июльский день. Лето в разгаре. На улицах обычная деятельная, знакомая жизнь Берлина... И опять не верю в войну.

Но в вестибюле пансиона нас высыпают встречать взволнованные лица знакомых обитателей: Ш., ее только-что приехавшей из Петербурга муж, хозяйка пансиона, доктор Хардекон.

— Вчера в кафе избивали русских! — кричит маленькая Ш.—Какой ужас здесь царит... Надо уехать, немедленно уехать в Россию. Но как, как?

Обсуждаем план отъезда обоих Ш., с которыми думала отправить сына.

Кто-то советует ехать через Швецию. Звоним в Schlafwagenbureau. Ответ все тот же: границы закрыты.

Телефонирую Хаазе. Советуюсь о сыне.—„Зачем вам хлопотать об его отправке? Конечно, положение серьезное, но мы же не варвары! Поверьте, ему гораздо лучше будет здесь, чем в сумятице войны в России“.

Справляюсь у Хаазе, когда, где международный конгресс?

„— Конгресс? Вы шутите? Разве вы не видите, что творится? Люди сошли с ума... Война — неотвратима. Шовинизм затуманил головы. Теперь уже ничего нельзя поделать“.

Я не верю его пессимизму, его странной покорности. Еду на Линденштрассе, в женское бюро. Хочу знать намерения партии.

Застаю Цису одну. Вид у ней озабоченный: будто ей неприятно, что я пришла. Суха и формальна. Рассказала, что Клара (Цеткина) очень взволнована событиями, что хочет выпустить специальный номер „Gleichheit“; но о намерениях, о планах партии — ни звука.

„— Мы протестовали... Мы выполнили наш долг... Aber, wenn das Vaterland bedroht ist, soll man auch seine Pflicht

thun“ (но когда отечество в опасности, надо суметь выполнить и тут свой долг).

Поглядела я на Цисц во все глаза и поняла, что с ней мы не столкуемся. Пыталась узнать, есть ли директивы от Интернационального Бюро? Цисц отвечала уклончиво. У меня впечатление, что я для нее уже больше не товарищ, а „русская“.

...В час узнали о смерти Жореса. Новость полоснула по сердцу ножом. Четко осозналось: если это возможно, — все возможно!... В этот час поверила в мировую войну... Будто колесо истории сорвалось с цепи и мчит нас в пропасть...

Нет Жореса... Нет его мощной фигуры, что заслоняла пролетариат от кровавого кошмара... Но самое жуткое: я сознаю всю величину утраты этого великого человека и все же, как мало, ничтожно, бледно это событие на фоне кошмара войны. Все гуще тени... Все напряженнее нервы...

С каждым часом падает надежда на предотвращение войны... Внутри все дрожит... Томишься, как в часы агонии близкого человека... Вот она, война!... Когда мы себе ее представляли, нам казалось, что за ее плечами немедленно вырастет красной тенью „das rote Gespenst“ (красный призрак). Но это безмолвие партии, эта растерянность, покорность... От этого можно сойти с ума...

„— Почему нет собраний, демонстраций?“ — приставала я утром к Цисц. — „Да, поймите же — военное положение“. — „Вот именно поэтому-то и нужны демонстрации... В Париже — бои, баррикады... А здесь — покорность, безмолвие, растерянность“.

Зато действуют шовинисты. На Unter den Linden (главная улица Берлина) толпы с пением национальных песен. Кайзеру устраивают уличные овации. Речи с балкона дворца. Молебствия в церквах. Правительственные агенты разъезжают на автомобиле и разбрасывают воззвания к народу...

Берлин шумит, бурлит, задыхается от прорвавшего его национализма. Что-то озверелое, ненормальное до жути, до отвращения...

Слухи ползут подлые, наглые, клеветнические. Пишут о том, что русские казаки, не дождавшись объявления войны, перешли границу. Что царь давно мобилизовал армию, что русские войска намерены итти прямо на Берлин. Во всем этом чувствуется ложь, преувеличение, ненависть, разжигаемая патриотами...

Но к нам, ко всем русским, резко изменяется отношение. Мы враги. Нас сторонятся, чураются...

В 11 вечера влетает Мэта (горничная) с криком и воплем: „Кронпринц, наш кронпринц убит!... В него стрелял русский“. А глаза всегда улыбающейся Мэты полны злобы к нам. Нелепо!

Справляемся, верен ли слух? Привез его шоффер, который, будто, сам слышал выстрел. Звоню в редакцию „Форвертса“. Слух оказывается ложным. Очевидно, фабрикуются кем-то сплетни и толки, чтобы „создавать“ настроение патриотизма.

Вспоминаю книгу у моего отца, которую я любила читать в детстве — издание Главного Штаба — секретное. В ней ряд советов-анекдотов о том, как в момент „военной угрозы“ будить через „прессу“ и „молву“ патриотические чувства. Точь-в-точь те же приемы сейчас!..

... Пансион спит. Но Берлин живет. Топот ночных патрулей под самыми окнами... Отзвуки войны... Где-то уже гремят первые пушки... Где-то уже падают и стонут люди...

2-го августа.

Половина первого ночи.

... События разворачиваются с небывалой быстротой. Не верится, что всего второй день войны. Утром, после полу бессонной ночи, спешу к Либкнехту. Груневальд, благодушно мирный, сейчас весь притаившийся, зловещий. Мимо носятся серые военные автомобили. Всюду военные каски, взводы солдат. Много полиции. Воскресенье. Но гуляющих нет.

Рассказывают о крупных манифестациях патриотов в центре города. Русские боятся выходить. Рассказывают об избиениях русских шпионов. Много офицеров и солдат в походной форме. Много плачущих женщин. Трамвайное движение сокращено. Автобусы мобилизованы для перевозки войск.

В трамвае рядом со мной сидит военный и держит за руку жену с младенцем. Оба молчат и смотрят тупо-покорно...

Около церквей — толпятся, особенно женщины...

Слово „шпион“ висит в воздухе.

Либкнехта застаю дома. Он спешит в город. София Борисовна (жена Либкнехта) расстроена. Нет, она тоже „не приемлет“ войны. Вместе с Либкнехтом едем обратно в город.

Карл едко издевается над „легковерием“ публики: „Ловкая, умелая игра нашего правительства. Мы сами подготовляли и вызвали пожар, а когда пламя вспыхнуло, делаем вид великодушия и уверяем, что хотим мира, что Россия первая отточила меч, что мы „вынуждены“ защищаться... И „ваши“ и „наши“ — друг друга стоят в этой игре. Но наши играют ловчее. Смотрите, какой великолепный жест для легковерных — послана нота России, требование демобилизации. Это пощечина крупной державе! Но мы, мы велико-

душны! Мы даем сроку для ответа двенадцать часов. Зачем растягиваем срок еще на 12 часов?.. Чудесно подстроено! Инсценировка, достойная Рейнгардта".

Либкнехт только что вернулся с севера Франции, где провел ряд больших агитационных митингов. Он уверяет, что французский пролетариат определенно против войны. Убийство Жореса — сознательный акт шовинистов, чтобы убрать с дороги человека, голос которого мог бы „в этот решительный час" (verhängnisvolle Stunde) собрать мировой пролетариат. Тактика партии еще неясна. Идут большие споры. Сейчас он едет на заседание парламентской фракции.

Прощаемся до завтра. Мне легче, что повидала Либкнехта, и что оба они ненавидят подлое безумие шовинизма.

... Около 6-ти часов прибегает растерянный д-р Ц. Его, как русского, арестовали на улице, чуть не избили. Свели в участок, сверили документы. Сняли допрос и отпустили „пока"...

Русские в пансионе взволновались этим словом „пока". Резнула и меня тревога за сына. Если бы удалось его отправить отсюда — руки были бы развязаны.

Пошла к Б. Там много наших; встревоженные, растерянные. Заняты не столько войной, сколько вопросом о том, как уехать? И там без конца сплетен, рассказов, вымыслов: русских арестовывают, русских избивают на улицах, русскую женщину растерзала толпа, называя шпионкой. Чувствуется преувеличение. Претит, что русские, свои партийные, пробавляются сплетнями и ложью, вроде пансионских теть. Чужие, незнакомые русские, жмутся к нашим, только потому, что „русские".

Вернулась в пансион. Опять слухи, но уже из немецкого лагеря: пойман шпион, переодетый ксендзом. Русский офицер пытался бежать, переодетый в женское платье. Русские стреляют из окон. Русские организовали склад бомб...

Пансион переполнен: русских выселяют из отелей. В каждой комнате по несколько человек.

Под вечер — новый слух: Япония объявила войну России. Япония встала на защиту Германии.

В пансионе — ликование.

„Вот это — умная нация! Да здравствует Япония!"

Немецкий журналист рассказывает, что только что видел трогательное шествие по Tauensienstrasse: толпа подхватила японцев на руки под крики „Vivat", понесла по городу, а японцы любезно раскланивались. Сразу откуда-то появились японские флаги.

„— Теперь России не сдобровать", злорадствуют вокруг нас и глядят на нас.

Не понимают они, что меня совсем не трогает „судьба" России.

Но еще досаднее, когда эта дура Э. заявляет с удовольствием:—„Ну, конечно, я вас понимаю! Русская революционерка не может не желать победы культурной Германии над варварской царской Россией. Ужасно подумать, что было бы, если бы ваши казаки прорвали фронт“.

Пишут и говорят о том, что русские войска наступают на Торн.

„Если так пойдет дальше, русские через несколько дней будут в Берлине“, уверяют перепуганные сожители по пансиону.

А Мэта плачет и грозится „отравиться“, чтобы не попасть в руки „dieser Barbare“ (этих варваров)...

Вечером сидели все у меня в комнате. Огня не зажигали.

Пекари из булочной в нижнем этаже грозились устроить сегодня „погром“ русским, проживающим в пансионе. Хозяйка просила нас „вести себя тише“.

Сейчас все разошлись по своим комнатам. Миша спит. А от меня сон — бежит. Подошла к окну. Знакомый Груневальд. Чистое, звездное, величавое небо. А мне слышатся орудийные выстрелы, чьи-то стоны, плач женщин... И кажется, что не пережить, не вынести этого ужаса....

Чувство одиночества...

Тов. У. с увлечением сегодня говорил о том, что „Россия себя покажет“... Россия! Что такое Россия?.. Так же отвратительно, как и шовинизм немцев...

Вечером, по телефону, со мной прощалась т. И. Она едет через Голландию в Америку, как американская подданная, у ней свободный проезд.

Надо ложиться. Завтра утром предвидится обход полиции и сверка документов. Нас предупредила хозяйка.

4-го августа.

Мы — „пленники“. Сын арестован и увезен, неизвестно куда... А вчера социал-демократы голосовали за бюджет! Да, да, голосовали за войну!..

Я не знаю, что страшнее: жуть ли за участь сына или отчаяние за их голосование?..

Два кошмарных дня. Война, будто вихрь, крутит нас, как ничтожные пылинки...

Чувство бессилия. И тупой злобы.

Началось это в 6 часов утра в понедельник.

Стук в дверь.

„Polizei“. (Полиция.)

Сверяют документы. Забирают паспорт сына. Идут дальше. У Ш. в комнате задерживаются. Жду с нарастающим беспокойством. Он — инженер, недавно приехал из России. У него в комнате планы, правда, электрических дорог, но все же планы...

Так и есть! Заявление старшего полицейского чина:

— Просим следовать за нами.

Что это? Арест? Подозрение в шпионаже? Ш. внешне покоен, а бледен.

Бэлочка истерически рыдает.

Бросаюсь к телефону. Звоню профессору-врачу, другу Ш., звоню в контору „А. Е. G.“. Контора еще не работает, профессор спит, прислуга отказывается будить...

Вспоминаются вчерашние рассказы о расстрелах по подозрению в шпионстве. Ведь взяли планы!..

Бэлочка Ш. врывается с плачем ко мне: бежала вслед за мужем до участка. Там — его заперли, а ее грубо вытолкнули, пригрозив и ей арестом.

Опять телефоны... Но ответ все тот же: „Господин профессор еще не вставали“.

Туда война еще не захлестнула. Там еще мирно спят... А у нас...

Через час — опять полиция. На этот раз за сыном. Странно, это как-то успокаивает. Очевидно, арестовывают всех мужчин. Но ведь сыну еще далеко до призывного возраста. Объяснения не помогают.

Не успели уйти — опять вернулась полиция. Этот раз — за мною.

Идем по Груневальду под охраной полицейских.

Но разве это Груневальд?

Сегодня мобилизация данного участка города. Бисмаркплац превращен в приемочный пункт. На площади раскиданы столы, заседают офицеры в серых шинелях, вдоль улицы выстроены мобилизованные частные автомобили. Дефилируют призывники.

Серое, мрачное утро. Что-то безжалостно-тупое в лицах. Какая-то неотвратимая сила. Чувствуешь, что человек — перестал существовать, что ему нет цены: ни ему, ни его жизни. Будто все мы — только пылинки... Чувство тоскливого бессилия. Как в тяжелом, душном сне...

С провожатыми говорим о войне. Зачем она? Полицейский, что помоложе, совсем огорчен: ему придется оставить свой „пост“ и тоже итти, в солдаты. А у него — семья.

В Полицейревире (участке) — опрос. Грубый тон высшего полицейского чина и решение, касающееся нас обоих; сына и меня: „Вы — арестованы“.

Нас запирают в большую, пустую комнату. У дверей — полицейский. Слышу, как отдают распоряжение о производстве обыска в моей комнате. Сразу вспоминаю о мандате на Вену с печатью русской партии. Досадно, что вчера не уничтожила столь компрометирующий документ!..

Подхожу к окну.

— Noch ein Schritt und ich schiesse!.. (Еще один шаг, и я выстрелю) — грубый окрик нашего охранителя.

— Не стану же я выпрыгивать из третьего этажа!

— Не рассуждать! Мне дана власть ohne weiteres вас расстрелять.

Унизительно-досадное чувство зависимости от этой грубой, нелогичной, неосмысленной силы.

Приводят еще арестованных, русских. Женщины плачут.

Долгие, томительные часы бессмысленного ожидания.

И вдруг полицейский вводит товарища Л. (работницу). Под предлогом получения с меня по счету за шитье платья, она настояла, чтобы ее пропустили. Требует с меня „двадцать три марки“.

Умница!

Шепчу ей быстро: „Известите Либкнехта и разорвите мой мандат“.

Но уже поздно: бумаги мои в руках полиции.

Начинается проверка документов. В приотворенную дверь вижу сидящего за столом перед опрашивающим его полицейским чином Ш. Стараюсь привлечь его внимание, пусть видит, что и мы здесь. Это его успокоит.

Русских, после сверки документов, освобождают. Остаются только серб, сын мой, да я. Объявляют, что нас повезут на Alexanderplatz, там разберут, что с нами делать. Предлагают на выбор: пешком, под эскортом полиции, или на автомобиле?

Выбираем второе.

Два полицейских с браунингами и мы трое. Приводят и Ш.

„Так веселее!“

Стараемся шутить.

Но наши провожатые обрывают: „Не до шуток“.

Берлин — шумит и живет. На нас не обращают внимания. Сегодня много таких автомобилей с арестованными.

На Alexanderplatz'е, во дворе, толпятся русские. Очевидно, арестованные.

Меня разделяют с сыном. Ш., после опроса, неожиданно отпускают. Сына уводят.

Куда?

Самая темная минута всего этого кошмарного, унизительного дня...

... Утром четвертого августа в дверях моей камеры неожиданно появляется толстый полицейский, за ним другой с картонкой, в которую сложены мои бумаги.

— Вы известная агитаторша такая-то?

— Да, я.

А сама думаю: „Так и есть! Нашли мандат“.

— Но почему же вы этого сразу не сказали? Русская социалистка — не может быть другом русского царя... И уже,

конечно, не станет шпионить для победы этих варваров.. Вы — свободны".

Неожиданный оборот. Тот самый документ, который неделю тому назад послужил бы поводом к моей высылке из Пруссии, сейчас отпирает передо мною двери Alexanderplatz'a.

Отдают картонку с бумагами и отпускают на все четыре стороны.

Но куда итти?

Первое, конечно, навести справки об участи сына. Рекомендуют обратиться в Oberkomando и в комендатуру. Дают адрес.

На Unter den Linden — не протолкнешься. Овации мобилизуемым — крики, пение, знамена...

И войска, войска, войска...

Комендатура.

Пропускают от солдата к солдату. В канцелярии за столом — несколько военных и много плачущих русских женщин. Пришли за справками.

Но списки еще не составлены. Арестованные русские размещены по тюрьмам. Кто — где, неизвестно.

— Да вы не беспокойтесь! Арестованы даже русские генералы. У нас в тюрьмах не плохо... Пойдите в Oberkomando — там больше нашего знают.

Опять на улице, среди толпы. Такой возбужденной, крикливой, шумной.

Оберкомандо. Царство военщины. Чувствуешь власть тупой машины, механизма без души, с которым не столкуешься... Каски, солдаты, офицеры...

Вчера еще нас возмущал „бюрократизм" гражданских учреждений, сегодня, по сравнению с властью обнаженного меча, формалистика этих ведомств кажется „бархатной"...

Опять много женщин. Русские. Толпятся, волнуются, плачут. Хлопочут о пропуске. От них отмахиваются, как от несносных мух.

Человеческое горе? Что такое сегодня человеческое горе, человеческая жизнь, когда тысячи жизней ставятся на карту, чтобы проводить „план", диктуемый из Oberkomando (верховного командования)? Каменное равнодушие. Неторопливость и бесстрастие. Общий повторный ответ: списки арестованных будут готовы через 2—3 недели.

— Следующая...

— Но мой муж туберкулезный, он не вынесет тюрьмы.

— Возможно. Но сейчас война! Следующая.

Когда женщины упрямятся, им кричат нелепо: — Зачем же вы на нас напали? Вы — мать? А наши германские матери меньше страдают, отправляя сыновей на войну? Не начал бы ваш царь войны, не пришлось бы вам тут плакать".

Автомобиль. В нем высокий генерал со свитой. Толпу раздвигают. Каменное лицо, твердая походка... Олицетворение военщины...

Вот она, война!

В серых, мрачных стенах Oberkomando (верховного командования) — я ощущала ее смертельное дыхание...

... На улице нервы не выдерживают — кружится голова. Прислоняюсь к фонарному столбу.

„Бедная!.. И ваш близкий, верно, тоже мобилизован!..“ Женщина, немка, с заплаканными глазами сочувственно останавливается возле меня...

Спешу от нее уйти. Не хочу „воровать“ ее сочувствия, ведь для нее я — враг.

Решаю ехать в рейхстаг. Там найду наших, наверное, будет Гаазе, Либкнехт.

На трамвае слышатся угрозы по адресу русских:

— „Попадись мне русская собака! Я бы его сейчас прикончил!.. Mordbrenner!..“

О кайзере говорят „благоговейно“, восхищаются его вчерашней речью...

Вхожу в знакомый депутатский подъезд (Portal II). Швейцар привык ко мне, он любезно раскланивается и, косясь на мою картонку с документами, осведомляется:

— Вы с дачи?

„Хороша дача“!

В кулуарах рейхстага пусто. Навстречу — Каутский. Какой он старенький, растерянный...

Оба сына мобилизованы в австрийскую армию. Жена — в Италии.

Спрашиваю его мнение о событиях. — Что же будет дальше?

И вдруг до жути неожиданный ответ:

— В такое страшное время каждый должен уметь нести свой крест.

„Свой крест?“

Или старик не в своем уме?

Подсаживается Гере.

Этот полон наивного патриотизма. Слушаешь и не понимаешь: они ли все сошли с ума или я ненормальна? Но стенка непонимания все толще и толще.

„Подумайте, кто бы поверил, что среди наших соци столько патриотизма, воодушевления. Многие идут на войну добровольцами. Да, Германия всем нам дорога... На нас напали и мы ее отстоим!.. Мы покажем, что и социалисты умеют умирать за родину“.

Дочери Гере рвутся в сестры милосердия. О насилиях над русскими — не слышал. Не верит. Да и, наконец, разве в России лучше?

— Страшно подумать об участи наших бедных соотечественников в России.

„Соотечественников? Это кто же? Всякие купцы, коми-вояжеры, предприниматели...“ И о них скорбит душа патриота Гере?

„Мы идем бороться с царизмом... Мы поможем вам, русским, избавиться от насилия и гнета“.

„Помощью меча и Oberkomando?..“

... Штадгаген настроен нервно... Он отзывает меня в сторонку. Конфиденциально сообщает о „чудовищных, небывалых разногласиях“ во фракции рейхстага. На вчерашнем заседании дело чуть не дошло до рукопашной. Образовалось меньшинство, четырнадцать человек, с ними Гаазе и Либкнехт. Оспаривали решение большинства голосовать за бюджет.

„Как? Голосовать за бюджет?“

Не верю своим ушам.

„Разумеется. Дело не в этом. А в том, что никак не могли столковаться на формулировке... Мотивировка дела неправильная, неприемлемая“...

Выработка мотивировки заявления фракции поручена была комиссии из Каутского, Давида и еще кого-то. Каутский предложил свою, Давид свою. Мотивировку К. провалили.

„И старику пришлось исправлять мотивировку Давида, внося в нее поправки“...

Заседание фракции было не полное. По мнению Штадгагена, при создавшемся положении, мнение меньшинства просто „ребячество“ (Kinderei). Война — факт. Воздержавшись от голосования, социалисты в глазах массы могут потерять всю популярность. Их сочтут за „врагов отечества“, это отразится на будущности партии. Рабочие массы — за войну. Германия — должна „обороняться“.

По мнению Штадгагена, Германии сейчас угрожают не только Россия и Франция, но и Англия.

„— Когда разбойники напали на мой дом, я буду дурак, если стану рассуждать о „гуманности“ вместо того, чтобы их пристрелить!“

„— А мировая рабочая солидарность?“

„— Что делать! Она бессильна пока предотвратить войну“...

Чувство непередаваемой горечи и отчужденности...

... В кулуарах все еще пусто. Нет знакомых служителей — мобилизованы. Остались лишь старики.

Входят Франк, Давид, Вендель. Долетают слова Венделя:

— Если в редакции „Форвертс“ до сих пор не поняли, в чем наш долг, — редакцию надо послать в дом для идио-

тов!.. В такие минуты, когда разворачиваются мировые события,—они все еще жуют книжную мудрость. С такими людьми — аргументации излишни... Тут следует помнить, что сейчас все решается — пулей!"

Вендель, самый молодой член рейхстага, талантливый Вендель — патриот?

„— Я иду сражаться... Там — я нужнее, чем в редакции „Форвертс".

И Франк идет добровольцем на войну. Его окружают, жмут руку...

„— Прошусь на передовые позиции. Не понимаю, как можно сидеть в безопасности, когда товарищи под пулей?"

Но зачем, зачем же допускать их „под пули"?..

Подъем Франка мне кажется „наигранным". Но есть и искренние — до жути искренние патриоты...

... Ловлю Хаазе. Неловко в такие минуты беспокоить его своей личной заботой, ведь сейчас решается судьба не только народов, но и социал-демократии. Но Хаазе оживлен и любезен.

„Сегодня после окончания заседания поговорю с Бетманом обо всех арестованных русских. О, теперь мы — persona grata у правительства!"

Что это значит? Разве Хаазе не против голосования? Что переменилось?

Расспрашивать некогда. Заседание начинается.

С билетом на хорах для публики, пробираюсь в зал.

.... Заседание целиком занимает речь канцлера. В зале напряженно. Все депутаты на местах. На хорах — полно. Публика — вся внимание. Речь канцлера деловито-отчетливая. Хорошо подготовленная. Брошен упрек по адресу России, что факел войны брошен ею... Это место вызывает кликушествующее одобрение зала и публики на хорах. Аплодируют и левые скамьи. Речь канцлера не раз прерывают аплодисменты. Но когда Бетман бросает en passant заявление о возможном или уже совершившемся (а оно уже было фактом вчера!) вторжении в Бельгию — в зале тишина. Чуть шевеление на левых скамьях—и снова напряженное внимание.

Перерыв. Через час заседание возобновится.

Спешу в кулуары вниз.

В зале много военных. Некоторые депутаты явились уже в форме. Встречаю Либкнехта. Расспрашиваю о вчерашнем заседании.

„Они — безнадежны. Der Rausch der Vaterlandsliebe hat sie beteubt („Угар любви к отечеству затуманил им головы"). Es ist nichts zu machen... Die Erklärung wird heutl, abgege-

ben“. (Ничего не поделаешь. Сегодня заявление фракции будет внесено).

А „меньшинство“?

Меньшинству остается подчиниться „партийной дисциплине“. Но самое чудовищное, что „Заявление“ фракции прочтет Хаазе, Хаазе, который сам противник голосования!..

Либкнехт резко не одобряет товарищей, идущих в добровольцы. Этому нет оправдания.

Среди забот о большом, о главном, Либкнехт, как всегда, отзывчиво откликается на мою личную тревогу о сыне. Он сам озабочен участью арестованных товарищей. Предлагает использовать перерыв и поехать в Oberkomando за справкой.

Мне кажется, ему тяжело в кулуарах Рейхстага, где собственные товарищи глядят на него неодобрительно за его резкие суждения о войне, за критику „Заявления“.

Едем в переполненном публикой „омнибусе“.

„Сегодня — мы разваливаем Интернационал... Пролетариат не простит немецкой социал-демократии сегоднешнего шага. Пройдет десять лет раньше, чем этот день забудется“.

Но, как ни удручен он мировыми событиями, он находит время и силы помочь нам, русским товарищам, и отозваться на мою личную заботу... А между тем, сейчас мы ведь „враги“, и его заступничество будет отмечено, как минус неугомонному Карлу.

Сколько в нем светлого, человечного... Таким, именно таким должен быть настоящий социалист.

В Oberkomando нас долго держат в приемной. Либкнехт нервничает. Обычно магический титул „член Рейхстага“ не действует сегодня. Что такое член Рейхстага для этих тупых физиономий в военных мундирах, как машина, точно, четко, без мысли выполняющих предписания свыше?

— Поглядите, там, направо, фабрикуется общественное мнение и создаются легенды о том, что на Германию напали, — обращает Карл Либкнехт мое внимание на дверь с надписью: „Presseabteilung“. — Здесь сочиняются телеграммы о наших победах и сообщения о шпионах... Завтра появится опровержение, но опровержения печатаются мелким шрифтом — их никто не читает.

Либкнехт делает несколько шагов в сторону стола, где заседают офицеры. Хочет взять стул.

— Ни шагу дальше,—грубо останавливает его часовой.

У Либкнехта нервно подергивается щека.

Наконец, Либкнехта приглашают к адъютанту Кесселя.

Нового он ничего не узнал: надо ждать составления списков. Это займет, быть может, несколько дней, быть может, и две-три недели. Для ускорения можно подать

прошение о свидании с сыном, прошение о том, чтобы передать ему вещи и т. д.

Заходим еще в комендатуру, но и там—никаких сведений.

Но когда мы снова выходим на Unter den Linden, я вижу, что обычная Tatkräftigkeit (энергия) вернулась к Либкнехту. Он уже весь озабочен планом: как вызволить русских товарищей из тюрьмы? Как им помочь, пока они под замком?

Спешим в Рейхстаг.

Сейчас решительная минута.... Я еще не верю в голосование. Мне все еще кажется, что в последнюю минуту фракция перерешит.

Вторая половина заседания открывается в 5 часов. Снова наплыв публики на хорах. Но напряжение утреннее спало. Наоборот, лица какие-то успокоенные, почти довольные. Даже шутят.

Хаазе читает заявление фракции. Его прерывают дружные аплодисменты всего зала. Аплодисменты несутся даже с крайней правой. Бурный восторг вызывают слова, что социал-демократия, lasst ihr Vaterland nicht im Stich.....“

Мне кажется, что я лечу в пропасть...

„Исходя из всех указанных причин, социал-демократическая фракция высказывается за кредит“...

Что тут творится!.. Ничего подобного не видали стены рейхстага! Публика вскакивает на стулья, кричит, машет руками. Акта голосования — не происходит. Вице-президент Пааше отмечает, что кредит „вотирован единодушно“. И снова крики, и снова буря патриотического кликушества. Замечаю, что в порыве патриотизма беснуются и на левых скамьях...

Свершилось. А я все еще не верю. Бегу в кулуары... Ведь голосования же не было, может быть, это еще не „окончательно“?

Натыкаюсь на Вурма.

— Как вы сюда попали? Ведь вы же не имели права присутствовать на таком заседании рейхстага, — вы же русская!

В самом деле, я об этом и „не подумала“! Я — шла сюда к „своим“, к товарищам, теперь я знаю, что я ошиблась!

Около Либкнехта —группка; с ним горячо спорят. Вендель злобно оглядывается на Либкнехта.

„— Сумасшедший маниак!.. Таких надо сажать за решотку... Сейчас всякие сентиментальности — по-боку“.

Кажется, в Лебкнехте он видит настоящего „предателя“ своего милого, милитаристского отечества.

Ко мне подходят знакомые жены депутатов. Они очень довольны исходом заседания. „Жены“ боялись влияния „14-ти“.

„— Ведь если бы они одержали верх, моего мужа просто расстреляли бы, как изменника!“

„И было бы чудесно“, хочется мне крикнуть ей в ответ.

„Да, мы, германцы, умеем быть единодушны!.. Какая великая торжественная минута единения!“—слышу голос Э.

„Единения“ с кем? С генералом Кесселем? С тупицами из Oberkomando? С „правыми скамьями“?

Мне кажется, что я задыхаюсь от бессильной злобы, от отчаяния, которому нет слов....

И сейчас, ночью...

Рейстаг — распущен. Догорела последняя искорка народного контроля над действиями правительства, опирающегося на штык.

Мы выходим вместе с Либкнехтом и идем долго по Тиргартену. Трамваи — редки, омнибусы—мобилизованы.

„Что будет с Интернационалом?.. Сегодняшний день его уничтожил. Надо, чтобы выросло новое, другое поколение, чтобы его воссоздать.... Нам, немецким социал-демократам, рабочий класс мира — никогда не простит сегодняшнего акта“...

И у меня чувство, будто я присутствовала при казни... Ужас, какой-то леденящий ужас безысходности...

И снова голос Либкнехта, призывающий к активности, вызывающий из тумана отчаяния:

„— Но мы этого так не оставим!.. Надо будет начать действовать теперь же. Надо бороться за немедленный мир, надо разоблачить лицемерие правительства! Надо сорвать с них маску“.

И уже сразу легче на душе, не так безнадежно.

... Вечером снова сидим в моей комнате с обоими Ш., доктором Ц. и тов. С. (Стомониаковым). И опять кажется, что теперь, после голосования кредитов, все рухнуло.

А рядом гложет, мучает тревога за участь сына, за наших арестованных друзей...

И, кажется, не вынесешь этой пытки, не вместишь!..

5-го августа. Ночь.

Еще один свинцовый день.

Англия объявила войну Германии.

Вчера вечером новость эта доползла до нас. Но усталые нервы отказывались вмещать новые события. Казалось, хотелось думать, что это слух.

Но сегодня слух стал реальностью. Реальностью мирового значения, очень осязаемо ощущаемой и нами, жильцами пансиона Бисмаркплац. Нас — русских и англичан — выселяют. Куда? Неизвестно и некуда. На улицу. Отели переполнены, в другие пансионы русских и англичан не берут...

Мировые события заволакиваются заботами о том, куда деться?

Утром в столовой — сумятица. Вместо того, чтобы с вышколенной пунктуальностью сервировать Frühstück (утренний завтрак), прислуживающие девушки читают газеты. Немцы тревожно обсуждают новость — вступление Англии в войну. На улицах — растерянность и озлобленность.

„Англия идет на нас... Что будет с нашей бедной Германией?..“

На английскую семью и на меня бросают злые, негодующие взгляды.

Мы-то тут при чем?

Странное, жуткое ощущение отчужденности. Будто мы в самом деле враги. Конечно, мы ведь фактически „пленники“... И это только начало войны.

А над всем свинцом давит сознание: голосовали за войну! Нет больше мировой солидарности!

И тут же будто тонкая игла вонзается в сердце, глубоко и остро-больно, до крика: а сын? Что с ним? А арестованные друзья? На фоне общей растущей враждебности, кому будет охота хлопотать об их участи...

Вспоминаю Верховное Командование. Высокий генерал с каменным лицом. Свита. Каски. Бездушные лица-маски. Жестокость торжества военщины.

Что предпринять?

Из окна вид на аллею Бисмарка, на Груневальд. Солнечный, культурно-прибранный Груневальд сейчас — чужой. Как и вчера, здесь мобилизуются. Столы с офицерами. Дефиле мобилизуемых. По аллее стройно в ряд выстроены автомобили. Будто черная цепь протянулась по Груневальду. Идет реквизиция частных экипажей для целей войны.

Полиция.

Патрули верхом.

Серые военные автомобили.

И серое, не летнее, скучно нависшее небо...

На площади памятник Бисмарка, весь в цветах. Сегодня торжество „железного канцлера“.

Мои размышления прерывает хозяйка. Приказ по телефону: очистить пансион от русских и англичан в двухчасовой срок. Иначе не только закроют пансион, но и конфискуют имущество хозяйки. Она — немка, но была замужем за англичанином. Значит английская подданная.

Жестоко, бессмысленно и ненужно. Ведь некуда „выселиться“.

Хозяйка, как во время кораблекрушения, обходит комнаты, стучится в дверь и оповещает кратко и решительно о приказе полиции. Из дверей высовываются перепуганные, растерянные лица... Вдоль коридора бегают полу-одетые

мужчины, женщины. В пансионе живут матери с младенцами. Есть больные...

Вера Н. плачет:

— Если маму выселят — она умрет. Ей нельзя подняться с кровати.

С кем-то сердечный припадок, но даже некому воды подать.

Будто во время пожара.

Англичане укладываются молча и уже выносят сундуки.

Я решила не приниматься за укладку. Вещи разбросаны по комнате после обыска, но не до них. Собрала только рукописи, сложила в чемодан и отнесла хозяйке. Обещала сберечь „до востребования“.

Спешила к Либкнехту, он обещал навести справки о сыне, о товарищах.

На лестнице, среди сундуков и корзин паническое сборище русских: кто-то принес слух, будто русских избивают на улице. Дети испуганно жмутся к матерям. Кто-то истерически плачет... Вера Н. хватает меня за руку: — „Спасите маму! Отвезите ее куда-нибудь. Я не хочу, чтобы маму растерзали“.

Хозяйка на верхней площадке нервно торопит жильцов покинуть ее дом. Сейчас явится полиция.

„Но куда же мы пойдем? На улицу? Но если там избивают русских?.. Это же нелепо! Это жестоко!“

Горничные отказываются носить чемоданы „врагам Германии“.

С кем-то дурно...

Женщины плачут.

И опять, как в Мюнхене, ощущаю всевластие войны, ее леденящее дыхание...

— Но тогда, в Мюнхене, еще верилось, что есть живая сила — наша партия. Она не допустит этому безумию осуществиться. Теперь и эта надежда задушена...

Еду к Либкнехту.

Меня сопровождает Х. (немецкий журналист).

Взяли на себя миссию добиться отсрочки выселения русских, хотя бы на сутки. Возмущает бесцельность приказа, его ненужная жестокость.

Едем с Х. в трамвае. Говорим о войне. Х. не шовинист и не утратил рассудка.

Добираемся до американского посольства. Здесь — ни паники, ни суеты. Будто и войны нет. Нас пропускают без задержек. Но ответы неутешительные:

— Русские? К сожалению, мы вам помочь не можем. Обратитесь в испанское посольство. Русские отданы под покровительство Испании.

Сами знаем. Но может же нейтральная держава взять под покровительство хотя бы больных, матерей с детьми?

Оказывается, не может.

Едем к Либкнехту.

Здание рейхстага. Ещё недавно здесь социалисты сражались за свои идеалы, сейчас оно мертво. Вчера эсдеки сдали здесь знамена генералу Кесселю и Мольтке.

На улицах людно. Нервно-подъемно. Толпы народа. Газетчики. Раздача листков. Военные одежды, всюду военные одежды...

Демонстрация с флагами. Все больше подростки. Поют, сняв шапки... И публика на тротуаре спешно срывает котелки. На углу раздача листков — телеграммы с военными новостями. Побед пока нет. Все больше слухи о русских зверствах, о врачах, отравляющих колодцы...

Да ведь это же все из „особо-секретной“ книги — издание генерального штаба, которое я читала в детстве! Неужели этим можно напугать людей? Неужели верят этим „фабрикациям“?

Женский истерический вопль. Толпа шарахается в сторону крика, а на лицах несочувствие, а что-то злобно-зверское:

— Шпионка! Шпионка! Поймали шпионку!

На Фридрихштрассе — шпионка, среди бела дня, в Берлине? Что за нелепый гипноз?

Толпа сдавливает нас с X., влечет за собою... На моего спутника поглядывают подозрительно. Действительно, X. можно принять за русского. А если примут?..

И X. схватывает эту возможность. На-спех, в полголоса мы отдаем друг другу „посмертные распоряжения“. И оба—насчет рукописей... Сказали, и обоим смешно стало...

А толпа все напирает, теснит. Истерический женский плач перемешивается с руганью... Шуцмана оцепляют толпу...

По случайности, мы — за цепью.

Теперь к Либкнехту. И так опоздали.

... В адвокатской конторе Либкнехтов только брат Теодор. Извиняется, что Карла нет еще. Неприятный инцидент: не успел он прийти в контору, как по телефону ему сообщили, что в его квартире обыск.

Как? Обыск? У члена рейхстага?

И еще нуднее на душе. Душно и мерзко.

... Входит Либкнехт. По лицу вижу — озабочен. Еще бы! В его отсутствие в квартиру явились с обыском. Рылись два часа. А Софию Борисовну (жену Либкнехта) держали все это время под дулом револьвера. Почему? Где логика? Разум?

Об обыске Либкнехта известила соседка по квартире. Когда он вернулся домой, обыск уже кончился. Разумеется, ничего не нашли. Но чего же они искали?

„Конечно, причина — моя недавняя поездка во Францию и мои связи с иностранными товарищами".

И опять, слушая сжатый рассказ Либкнехта, одни факты без комментариев, подкрадывается чувство омерзения и душной жути. Точно лежишь со связанными руками среди улицы, где бешено галопируют лошади... Вот, вот наступят, раздавят... И не заметят. Никто не заметит. Что теперь человек?

Хочу узнать о Софии Борисовне, но Либкнехт обрывает. Все это мелочи. Надо к делу. Прежде всего — вызволить товарищей.

И Либкнехт садится за проект письма - прошения, по которому женам и матерям арестованных, может быть, удастся получить свидания.

„Но разве нельзя добиться их освобождения давлением на Бетмана? Вчера мне Хаазе сказал, что социал-демократы сейчас — persona grata у правительства".

„Ага! Он даже это вам сказал? Отлично! Шагаем к самоуничтожению со скоростью ружейного выстрела"...

И, забыв о письме, Либкнехт вскакивает и нервно бегает по комнате.

„Нет, надо будет действовать... Если дальше так пойдет, от Интернационала не останется ни следа. Надо прорвать эту пелену национального гипноза. Надо же, чтобы пролетариат понял ложь, обман всей этой военной махинации... Разоблачать надо! Разоблачать! Это наш долг сейчас".

Либкнехт побывал только что на севере Франции. В Рубе у него были великолепные многотысячные митинги. По его убеждению, французский пролетариат решительно против войны. Они будут бороться против мобилизации, они не попадутся, как бараны, в ловушку шовинизма. Но, конечно, голосование немецких товарищей сорвет солидарность. Французские рабочие сначала ему не поверят, а потом озлобятся... Теперь уж не спасти Интернационала.

„А какое чудесное настроение было в департаменте Норд во Франции!.."

И Либкнехт в живых красках рисует мне картину настроения рабочих Франции. Митинги все проходили под знаком борьбы с войною. Я почти забыла, зачем пришла. Но Либкнехта вызывают по телефону, и он возвращается к деловому тону.

Рассказываю ему о наших злоключениях в пансионе. Прошу совета. Либкнехт телефонирует члену муниципалитета. Тот обещает сделать все возможное, чтобы отсрочить выселение нас из пансиона.

О сыне и арестованных товарищах Либкнехт обещается сегодня же навести справки и похлопотать об их осво-

бождении. Записывает имена тех, кого помню. Просит прислать дополнительный список.

Прощаемся.

... И вот, я дома, в пансионе. На сутки отсрочили наше выселение...

Но война — факт.

А сын и товарищи в их руках...

Темно. Душно. Жутко.

6-го августа.

День начался рано. В шесть часов стук в дверь.

— Кто?

Ну, конечно, обход полиции. Сверка документов. Долго рассматривают мои бумаги, совещаются. Считают их недостаточными и неубедительными.

Вспоминаю о талисмане-мандате на Интернациональный Конгресс.

— Ага, так мы вас уже раз арестовывали?..

И идут дальше.

Но через полчаса возвращаются, чтобы заявить: „Извольте выселиться сегодня же. Больше отсрочки не будет“.

Хорошо сказать: выселиться, — ни комнаты, ни денег...

У соседей та же картина, что и вчера: опять таскают чемоданы, опять волнуются, пугают друг друга слухами. Женщины плачут. Мужчины ругаются, но вполголоса... Боятся.

Хочу позвонить по телефону.

— Русским по телефону воспрещено говорить.

— Даже по-немецки?

— Даже по-немецки. Во всяком случае, из пансиона нельзя.

Еду в испанское посольство, близ Тиргартена. Квартал богачей, аристократии.

Издали видна толпа, осаждающая посольский дом. Русские. Кого-кого тут нет! Посетители дорогих немецких курортов, учительницы, едущие с экскурсией, знакомые лица профессоров... Дамы во всем блеске летних нарядов, курсистки, „няни“ в платочках по-русски...

Публика ропщет, толкается; каждый пытается протолкаться вперед. Переругиваются. Доберутся до чугунной решотки и стоп. Чугунные ворота, ведущие в палисадник, заперты, и их изнутри охраняет представительный швейцар в ливрее и с ним для крепости два шуцмана (полицейские).

А публика напирает, толкается... Прислушиваюсь к разговорам. Все чего-то ждут от испанского посольства, но чего? Никто хорошенько не знает.

„— Так же нельзя!.. Испанцы обязаны нас защищать!.. Посольство должно добиться, чтобы нас пропустили через границу... Они обязаны выдать марки, раз русских денег не меняют“...

На приступочке решотки сидит женщина. Желтая, больная. Накануне операции ее выбросили из клиники. У ней рак... Мать с пятью детьми выгоняют за неплатеж с квартиры, русских денег не берут, а на марки не меняют. Другая плачет о муже, туберкулезный в последней стадии. Арестован. Скромно одетый старик жалуется, что не ел третий день. Спешил в Берлин, на станции его оттерли от семьи, семья уехала, а он остался без денег, без вещей... Один, без языка. Рядом полная, нарядная дама, с брилиантами в ушах, озабочена судьбою своих сундуков с „туалетами“... Эту из отеля никто не выселяет, и о голоде она и сейчас не имеет представления!..

— Война разбила классовые перегородки, — кричат в Германии.

Видно, не совсем-то разбила. Классовые перегородки существуют, как видно, даже среди „пленников“...

Испанское посольство должно открыться в 10 часов. Но скоро одиннадцать, а чугунные ворота крепко охраняются швейцаром в ливрее и шуцманами.

Многие стоят уже с семи утра. Ропщут. Стонут. Жалуются. Ругаются громко, смачно, по-русски...

Наконец, полицейские во дворике зашевелились. Пробрались в толпу и силятся установить „очередь“. С русскими не так-то это легко. Кому-то достается кулаком по шее... Присмирели. Меньше напирают. Перебраниваются со стоящими сзади...

— Не напирайте же, черти этакие!.. Надо же соблюдать хоть какой-нибудь порядок! Что за некультурность!

Добираюсь и я, наконец, до заветной канцелярии.

Никогда не думала испанская миссия с ее крошечной канцелярией, что ей придется выдерживать осаду тысячной толпы.

Испанцы любезны, очаровательно-любезны. Особенно с хорошо одетыми дамами. Но... беспомощно разводят руками:

— Перебраться через границу? Немыслимо. На границе идут военные действия. Деньги? Но русское императорское посольство уехало, а денег не оставило. Конечно, Испания готова оказать свою защиту русским подданным, это долг Испании. Но... посольство бессильно. Оно не может воспрепятствовать выселению. Это — военная мера. Впрочем, есть пансионы, куда и сейчас принимают русских. Надо спросить швейцара. Он все знает. И если деньги разменять — он тоже сумеет помочь. Обратитесь к швейцару.

Но вокруг швейцара — жужжащий рой. Изредка мелькает его шляпа с галуном и тотчас тонет за сеткой голов...

Нет, очевидно, кроме любезностей в испанском посольстве ничего не добьешься.

...Еду к тов. О. К. Он — адвокат, свой, партийный. Близок к русской колонии эмигрантов. Этот что-нибудь придумает.

Вагоны городской железной дороги переполнены. На станциях толпы — проводы мобилизуемых. Цветы, поцелуи, слезы. Крики „vivat“. Патриотическое пение и много рук, машущих шапками...

А на стенках вагонов плакат, жирным, четким шрифтом: „ловите русских шпионов.“

И от этого плаката тошняще-нудно и тоскливо.

Неужели и в России то же? Неужели и там озверели?

Нет, так не было в Японскую войну. А сейчас, когда война совпала с волной движений, с забастовками, подобный патриотический угар немыслим и невероятен.

О. К. застаю в конторе. У него посетители, очередь. Жду долго. Наконец, принимает.

— Вы были арестованы? Но ведь вас же не искалечили, не избивали? А мне тов. Б. (русский) только что принес заметку о тех безобразиях, какие будто бы творились немцами при арестах. Требует, чтобы мы это напечатали в „Форвертсе“... Сейчас такие сообщения можно печатать лишь после большой проверки. Ложь может повредить газете. Теперь такое время, когда надо быть очень и очень осмотрительными.

Он ли это, горячий, левый О. К., всегда готовый поднять перчатку, чтобы сразиться с властями?..

Делюсь своими заботами.

Беспомощно разводит руками, как в испанском посольстве:

— Едва ли арестованных скоро выпустят. Насчет выселения?.. Раз это распоряжение идет из военных центров — остается подчиниться...

Ухожу с тем же нолевым результатом, как и из испанского посольства, плюс горькое чувство растущей стенки, отделяющей от немецких товарищей.

Еще раз к Либкнехту.

Встречаемся на лестнице. Он спешит. Провожаю его до трамвая.

Шовинизм, как зараза, косит самых стойких... Ленч, еще вчера стоявший за отказ в кредитах, сейчас уже готов переметнуться на сторону Венделей и Франков. Хаазе — лавирует. Он понимает все безумие избранной тактики, но после прочитанной декларации — он связан. В рядах партии сплошное помешательство. Все стали патриотами. Готовы кричать

кайзеру „vivat“ (да здравствует!). А массы? Что пролетариат думает? Массы? Все эти дни выжидали пароля партии... Настроение было настороженное, но решительное. После голосования кредитов — настроение резко изменилось. Прорвало напряжение, но энергия вылилась в дикий шовинизм. Партия не сумела во-время открыть шлюз, дать настроению вылиться в другое русло. А сейчас уже поздно. Массы одурманены паролем „спасения отечества“. У самого Карла много неприятностей с партийными центрами. И все-таки он не забыл своих обещаний. Просит передать русским товарищам, что завтра будет передача вещей арестованным. Записываю час и адрес. По мнению Либкнехта, русских эмигрантов долго пленниками держать не будут. Советует самой поехать в полицейский участок и попросить отсрочки выселения.

Еду.

Но раньше заезжаю к Л. (работнице). У ней своя квартирка, может приютит пока?

Застаю семью Л. в самых расстроенных чувствах. Мужа — мобилизуют. Уезжает послезавтра. Где уж тут „приютить“ чужого человека!... Чувствую, что и после не найду здесь приюта.

— Если бы вы были не русская, я бы с радостью вас к себе взяла... А русскую... Сейчас сплетни пойдут. В доме все люди маленькие. Боятся полиции.

Остается, по совету Либкнехта, самой пойти в участок.

Участок.

Не впускают. Долго торгуюсь, объясняю, настаиваю.

Впускают.

Знакомый Amtsvorsteher — полицейский чин, с усами по-вильгельмовски. Тот, что нас арестовывал.

— Вам чего? — сразу окрысился.

Объясняю.

Не дослушивает, перебивает, бесцельно повышая голос, кричит... Кроме меня, никого и в комнате нет, чего же он старается?

И вдруг перемена тона. Подействовало мое требование: хочу говорить с вашим начальством. Испанское посольство дало нам „право“ проживать там, где нас застала война. Если он этого не знает, пусть справится по телефону у начальства; тот-то уже, наверное, информирован.

Слово „право“, повторяемое мною на все лады, действует магически. Блюститель закона не трудится телефонировать начальству. Он берет бланк и отмечает на нем сорокавосьмичасовой срок отсрочки выселения лично мне. Это меня не удовлетворяет, „право“ касается всех русских. Но, оказывается, русских уже успели выселить. Остались

лишь те, кто зарегистрирован в участке, т.-е. кто побывал в аресте и выпущен.

Значит, мои друзья Ш. не выселены? И то утешение.

На прощанье усатый блюститель закона постановляет: все русские должны приходить через день к нему отмечаться.

Вечером забегаю к Б.

Как всегда, у него толчется эмигрантская публика.

Аресты не прекращаются. Арестованных будто бы из тюрем перевели в лагерь Дебериц.

Значит, заперты прочно...

Настроение у нашей публики скверное. Растеряны. Нервны. Рассказывают о погромах, о расстрелах без причин и поводов... Верят всяким самым нелепым слухам. Точно мерку возможного утратили.

Но всего больше удивляет то, что Б. да и другие находят, что за войну голосовать было необходимо. Аналогия с франко-прусской войною сюда не подходит. Если Германия не будет обороняться — Россия ее раздавит. Упорно говорят о движении русских на Берлин. Победа России над Германией означает разгром социал-демократии.

Спорю.

Не соглашаются. Заразились немецким патриотизмом...

...Собрала вещи сыну для передачи. Час ночи. Под окном лошадиный топот — патрули.

И ни живой души на улице.

Военное положение.

7-го августа.

В шесть часов утра — стук в дверь.

Полиция?

Нет, — сын.

С тов. Д ном пришел пешком из Деберица. Их выпустили первыми. Пленников сначала потаскали по тюрьмам. Спали вповалку, на сыром полу... Кое кого избили. Неизвестно, за что. Потом погнали в лагерь. Там было лучше. Хоть на воздухе днем.

Только отлегло от души за сына — опять вчерашняя канитель: полиция сверяет документы. И снова требует выселения.

Показываю отсрочку. Не соглашаются.

Отсрочка дана из участка, а они посланы центральным управлением.

Помогает изворотливость У. сына бумажка: немедленно зарегистрироваться в участке по месту жительства. Участок указан. Не будет ли недоразумений, если переменить жительство?

Совещаются. Соображают.

И уходят, не повторив требования выселения.

Значит, пока остаемся.

...Вести с театра войны сдержанные, а тон продолжает быть самохвальный. Некоторые думают, что за этими сдержанными новостями, особенно с восточного фронта, может крыться немецкое поражение, которое пока скрывается. Так предполагает и тов. У. Он весь захвачен военными интересами. Следит по карте, что и где происходит и вообще настроен „патриотически“.

Забегала вечером в нашу Халлензейскую колонию [1]). И там царит непонятный шовинизм. Вчерашние поклонники всего немецкого, сегодня с пеной у рта ругают немцев; ругают пристрастно, неосновательно, по мелочам. О России же говорят, как о чем-то „своем“. Чуть ли не желают победы русским войскам.

Что это? Неужели же и русские товарищи станут патриотами?

Но что особенно удивительно: критикуют немцев, ополчаются на все немецкое и совершенно не возмущаются голосованием в рейхстаге. Будто иначе и быть не может... Я сцепилась по этому поводу с У., но он нашел, что я рассуждаю „вне времени и пространства“.

Арестованных еще держат в Деберице. Либкнехт надеется, что их постепенно выпустят...

...В пансионе нас явно сторонятся. Посадили русских за отдельный стол в соседней со столовой комнате. Разговаривают с нами, только чтобы с непонятной запальчивостью рассказать про те „преступления“, какие творятся русскими. Много говорят о возможности продвижения русских до Берлина. По мнению У. — это „чистейший абсурд“.

9-го вечером. Льеж занят немцами. В городе ликование. Пение, демонстрации. Флаги.

Черногория объявила войну Австро-Венгрии. Поле смерти и крови расширилось...

8-го августа.

Только что побывала в редакции „Форвертса“ и в Форштанде (Цека немецкой партии). Хлопотать об участи арестованных товарищей. На окнах магазина „Форвертса“ вывешен большой плакат: „Ловите русских шпионов“.

До чего же докатится шовинизм немецких товарищей?

В редакции мне с увлечением рассказывали о том, сколько социалистов записывается добровольцами. Этого

---

[1]) Политическая эмиграция тогда почти вся проживала в Халлензее — округ Берлина.

мало. Наивно, с глупым самодовольством заявляют: „Мы просимся на Восточный фронт. Идем сражаться за освобождение России от царизма". И очень удивляются, когда их заявление не вызывает моего восторга.

Зашла к Эберту в Форштанд. Он принял более чем сухо. И... направил за справками в штаб верховного командования.

„Аресты вызваны интересами безопасности. Мы не можем вмешиваться в действия военных властей".

Так и ушла ни с чем.

Тов. Генриетта Дерман говорит, что она вынесла точно такое же впечатление от Форштанда, когда хлопотала об освобождении мужа.

Значит, это у них — „принцип"? Не вмешиваться и не препятствовать?.. Но что это будет? И где же, где „мировая солидарность"?..

...На улицах большое движение. Особенно на Потсдамер-плац. Здесь нечто вроде клуба под открытым небом. Раздаются листовки-телеграммы с последними новостями. Впрочем, больше анекдоты о зверствах русских над немцами в пограничной Пруссии. Отсюда несутся первые восторженные крики „ура" по поводу побед доблестных немецких войск на Бельгийском фронте. Здесь бушуют умело разжигаемые патриотические страсти. Гражданам вражеских держав среди этой толпы проходить не безопасно...

Меня поражает пестрота толпы: тут и очень солидные папаши, и мальчишки-школьники, и дамы в нарядных летних туалетах, и работницы без шляпок. И все одинаково кликушествуют, облепляют разносчика телеграмм, кричат „ура" и грозят „врагам"... Говорят же даже социалисты: „теперь Германия — едина. Нет больше классов, нет больше партий"...

И неверно это, абсолютно неверно.

Вчера ко мне заходила Либегут. Ее муж ушел на фронт, а она горько плачет и совершенно не понимает, зачем война? Кому она нужна? И муж (рабочий) вовсе не рвался на войну. Они, рабочие Шарлоттенбургского района, все время ждали пароля от партии. Готовы были выступить; совершенно не сочувствовали мобилизации. Многие решили не итти на пункт. Но из районного комитета пришел приказ „всем исполнить свой долг гражданина". Пришлось явиться. Металлисты ропщут. И женщины, жены рабочих, в полном отчаянии. Особенно те, у кого дети.

У Либегут нет злобы к русским, как у буржуазной публики. Она ни разу мне не сказала, что рада, что ее муж идет „сражаться за свободу России". Значит, „единства-то" нет? Значит, рабочие массы иначе воспринимают войну? Значит, она вовсе не так популярна?

...На углу Курфюрстендам и Вильмерсдорферштрассе видела, как толпа дико, мерзко, озверело избивала человека за то, что он отказался кричать „ура“...

А на домах всюду флаги, флаги, флаги... Празднуют победы на Бельгийском фронте.

Неужели и в России то же?..

10-го . . . . . .

Когда я спешила в Берлин из Кольгруба, я наивно верила, что надо быть на месте, чтобы участвовать в действиях немецкой социал-демократии против войны.

Сейчас мне ясно, что никаких действий не будет ни сейчас, ни позднее... Стихийный гипноз. „Фатерланд“ (отечество). „Наша Германия“. „Проклятые англичане“. „Русские варвары“. „Да здравствует победа культурной Германии!“ Таков язык немецких социалистов.

Виделась с Матильдой В. и Цисц. Обе „страшно заняты“. Чем? — Организуют вместе с дамами „высшего света“ (так и сказали!) общественное питание для детей, отцы которых мобилизованы.

Значит, работают на войну?

Рассказывали, что многие работницы записываются в сестры милосердия. По мнению В., они выполняют свой „социалистический долг“.

А я ушла от них с чувством непередаваемой тоски и морального одиночества...

... Всего хуже то, что и в пансионе нет покоя от шовинистического кликушества.

С утра почти ежедневно просыпаемся от стука в дверь.

„Полиция“.

Опять и опять проверка документов. Телефонные переговоры с полицейским управлением. Оставляют „временно“ в пансионе, но под „угрозой“ выселения.

Скучно и безысходно.

Потом врываются сожительницы по пансиону. С рассказами один другого невероятнее:

„Русские увозят миллиарды золота из Франции на автомобиле“.

По этому случаю чрезмерно усердные патриоты подстреливают свою же графиню, немку.

„Русские режут пленникам животы и посыпают раны перцем“.

„Русские выворачивают детям руки и ноги“...

„У русских в Галлензее нашли склад бомб и план Берлина“...

„Русский покушался на жизнь кайзера во время молебствия“...

Чем нелепее, тем больше ужасаются и верят. Да еще душат вопросами: в самом ли деле русские казаки такие изверги?

Разнесся слух, что Льеж пал. Что делалось в пансионе! Ликование, танцы...

Если я холодно принимаю известия о победах немцев,— мне с упреком бросают:

„Но вы же сами не хотите победы вашего царя? Вы же сами признаете, что вина в этой войне падает на его преступную политику?...“

Как им объяснишь? Как втолкуешь?..

... Приехали три новые жилицы из Восточной Пруссии. Бежали от наступления русских войск. Все три — жены офицеров. Одеты в черном. Глядят на нас с величайшей враждебностью. Одна даже юбку подобрала, когда я мимо проходила...

... На улице слышишь: „русские собаки“, „поджигатели“.

Почему-то ненависть особенно распространена на русских. Впрочем, кто лучше разбирается в политике, тот учитывает опасность со стороны Англии...

На вокзалах городской железной дороги всюду плакаты: „Оберегайте вокзалы и мосты от русских. Русские бомбами взрывают мосты“.

Всякий здравомыслящий человек понимает, что только сумасшедший может покушаться взорвать мост или вокзал в центре Берлина. Но на психологию такой призыв действует. Это будит „самодеятельность“, это создает впечатление, что и в тылу не безопасно, что враги повсюду...

И шовинизм крепнет, растет, силится.

На - днях убили школьного учителя, немца. Он нес пакет, с фруктами — приняли за бомбометчика...

Тоскливо. Безысходно.

Нет предела человеческой глупости.

А может быть, под этой шелухой патриотизма сокрыт очень здоровый инстинкт — инстинкт общественности? Как пчела, умирающая за целостность улья. Как муравьи, отстаивающие свой муравейник... Инстинкт может быть и естественный. Но муравейник-то искусственный...

... Сегодня опять ходили в участок. Обязаны отмечаться через день.

„Amtsvorsteher“ (пристав) встречает нас особенно нелюбезно. Усы торчат, глазами ворочает, по столу стучит. Сразу напустился на Бэлочку Ш., будто она по телефону смела „осуждать“ немецкую власть. Грозит всех нас расстрелять без дальнейших разговоров.

Бэлочка Ш. волнуется, оправдывается.

„— Ich dachte (я думала)...

„— Sie haben hier nichts zu denken (вам здесь нечего думать)...

Когда все это кончится? Унизительно для человечества...

. . . . 11-го вечером.

Товарища Ларина выпустили из Деберица. Освободили и других. Но еще многие сидят. Была у Ларина на квартире. За нами явная слежка. Говорят, что общаться не безопасно. Но на квартире Ларина застала тов. Дермана и тов. Гордона. Понемногу собралась почти вся активная колония. Обсуждали вопрос, что делать, чтобы обезопасить товарищей от издевательств? Чтобы освободить арестованных? Как быть с самым актуальным для всех вопросом — с деньгами? Многие уже голодают. Никто не в состоянии платить за комнаты. А хозяйки грозят выселением.

Житейские заботы как-то заслоняют собою мировые события. Если и говорят о войне, то больше для того, чтобы рассказать о каких-нибудь зверствах немцев над русскими.

Все эти рассказы явно преувеличены. От них несет русским шовинизмом.

Настроение у всех неуравновешенное, нервное. Пугают самих себя и друг друга — слухами. Рассказывали, будто утром в лагерях Деберица по подозрению в шпионаже расстреляли русского летчика Седова. О его расстреле узнали случайно, найдя его гребешок с запиской: „Прощайте, товарищи, меня ведут расстреливать, кланяйтесь России. Умираю неповинно“. Может быть и этот рассказ выдумка. Но он почему-то произвел на всех удручающее впечатление...

Я не могу и сейчас отделаться от образа летчика Седова... Расстрелы... Единичные, массовые... Кажется, что задохнешься от крови.

Во всех рассказах чувствуется, что правда мешается с ложью. Будто сейчас люди сами ищут „жуткого“ и всегда приврут, чтобы было еще ужаснее, еще отвратительнее...

Бодрее всех Ларин. Предложил он обратиться к Форштанду (Цека партии) с просьбой взять русских товарищей, без различия, большевик, или меньшевик, под покровительство партии, потребовать расследования властей над насилиями и издевательствами, какие творятся над русскими, добиться освобождения арестованных и т. д.

Поручили т. Б. и мне съездить завтра же к Хаазе.

У-кий составил заметку для „Форвертса“.

Мои сомнения, что „Форвертс“ не поместит, были встречены недоверчиво. А я чувствую, что мы у немцев сейчас ничего не добьемся. Разве с помощью Либкнехта. Но ведь и он не в фаворе!..

Праздновали победу взятия Льежа, но, очевидно, борьба за обладание крепостью не закончена. Цеппелин VI бросал бомбы и поджог часть города.

Опасаются, что Япония и Португалия вступят в аллианс с Англией против Германии.

„Весь мир идет на нас“, говорят немцы, а в глазах ожесточение и злоба.

12-го августа.

Были у Хаазе. На его частной квартире. Хаазе, по обыкновению, спешил. „Время такое!“

Выслушивал нас с явными знаками нетерпения. Относительно арестованных пообещал „замолвить словечко“ при первом же свидании с Бетманом. Относительно насилий над русскими, избиений, выселений и т. д. — развел беспомощно руками:

— Что тут поделаешь? Война!.. Избыток патриотизма. Стихия... Конечно, все это весьма прискорбно, но партия в этом случае бессильна.

Все же решили передать заметки в „Форвертс“.

Заговорили о деньгах.

— Деньги? Сейчас это самый неразрешимый вопрос. Партия за одну неделю войны уже потерпела миллионные убытки... Прилив членских взносов механически падает... Многие местные газеты — под угрозой закрытия. Абоненты перестают вносить плату... Безработица растет. Товарищи нуждаются... Нет, на денежную помощь вам расчитывать не приходится: это вы должны понять.

Мы пробовали втолковать Хаазе, что помощь, оказанная нуждающимся русским товарищам в данный момент, имела бы принципиальное значение. Как бы мала эта помощь ни была, хотя бы в несколько сот марок, но она подтвердила бы существование рабочей солидарности. Это следует сделать, как политический акт, как демонстрацию...

Хаазе не противоречил. Согласился в принципиальном значении такого акта. Но я уверена, что помощи этой партия не ассигнует.

Наши настроены много оптимистичнее. Особенно тов. Ларин. Он верит в Форштанд.

На прощанье — Хаазе, впрочем, предложил нам обращаться к нему и разрешил приходить к себе на частную квартиру. Другие товарищи и этого боятся. За русскими слежка. Опасаются, как-бы их не заподозрили в „комплоте“ (заговоре).

... По вечерам в пансионе особенно неуютно. Русским грозят погромами. У соседок по комнате, немок, сегодня был обыск. По доносу. Доносами насыщена атмосфера. Это тоже „патриотическая“ доблесть...

Либкнехт по телефону сообщил, что Клара (Цеткина) в Штуттгарте, у себя, но что у ней очень большие „личные“ неприятности. Какие? Он не хотел, очевидно, сказать по телефону. Сыновей мобилизовали?.. Или муж стал шовинистом?.. Выйдет ли номер „Равенства“ [1]) против войны?.. Я передала статью Цисц, но она затрудняется переслать.

13-го ночью.

Были у Либкнехтов; сыну хотелось „пожать“ руку „герою“, который открыто осуждает войну. Да, Либкнехт— исключение. Его травят, называют „предателем“. Считают „помешанным“. Но он продолжает вести свою линию.

Либкнехт собрал тех социалистов, которые войны „не приемлют“ и хотят поддержать в рабочем классе угасающий дух солидарности. С ним Ледебур, Отто Рюлэ, Тальгеймер, Луиза Цисц. Это меня очень удивляет. Либкнехт говорит, что у нее „правильное чутье“ и что она отражает настроение масс.

В чем именно и как выразится протест товарищей против войны,—еще не совсем ясно, но Либкнехт считает, что прежде всего надо собрать „единомышленников“, а затем начать разоблачать истинную политику Германии, вскрывать пружины, которые заставляют Германию воевать, срывать маску с правительства. Лозунг—„защита отечества“—затуманил головы. Либкнехт считает, что прежде всего следует показать, что Германия сама виновница войны, т.-е. повторить сейчас громко то, что говорила всегда партия до войны и о чем она сейчас упорно молчит.

Пролетариат вовсе не одушевлен войною. У Либкнехта рассказывали, как рабочие первые дни осаждали районные комитеты, в ожидании „пароля“. Все верили, что партия готовит отпор. Сейчас настроение значительно изменилось. Но если поговорить с рабочим наедине, он, обычно, не одобряет войны и без всякого „удовольствия“ идет подставлять свою грудь под пули, во имя фатерланда...

Странный был вечер сегодня у Либкнехтов. Такой непохожий на те, что переживали эти недели.

У Либкнехтов были гости, свои люди, но все же гости. Светло. Ужин. Дети.

И нет этого ощущения, что кругом люди, что считают тебя врагом. И нет ожидания „погрома“...

Интересный, своеобразный человек автор многотомного художественного издания „Женщина в карикатуре всех времен“, Эдуард Фукс. Я представляла себе его „сухарем“, так толсты и основательны все его работы по истории живо-

---

[1]) Женская с.-д. газета, редактировавшаяся К. Цеткин.

писи, культуры и т. д. Оказалось, что это скорее тип богемы. Весь полон впечатлений своей недавней поездки в Египет. Говорил о красках, о воздухе... Об особых тонах египетского солнца. И, слушая его, забывалось о войне, о наступлениях, о Льеже...

„Чтобы понять, что такое солнце — надо побывать в Египте. Только после того начинаешь правильно видеть световые эффекты на севере“...

София Борисовна и Фукс горячо спорили о школах живописи и, казалось, что война — сон...

Но когда мы дошли до вокзала городской дороги, снова пахнуло на нас ледяным дыханием жестокой действительности.

Уходил поезд за поездом, увозя в товарных вагонах свежее „пушечное мясо“. Все молодежь. Здоровые, юные... Цвет Германии...

Сидят на подножках, толпятся у раскрытых дверей... Поют, машут фуражками, горланят... Многие вагоны украшены гирляндами. Будто на праздник едут. А что делается у них на душе? Что думают они в ночной тиши, когда провожающие далеко и когда они уже не „герои“, а просто „свежее пушечное мясо“?

В Берлин прибыли поезда с ранеными. На улицах много сестер с красным крестом... И кажется, будто война близко, будто Штуковский всадник гарцует в самом Берлине...

... С каждым днем труднее разменять даже марки. Серебро исчезло. Сидим вообще без денег. И вопрос этот становится для всех весьма серьезным.

... Теперь уже очевидно, что и французы голосовали за войну. Немецкая партия видит в этом для себя оправдание. Но ведь Мюллер уехал из Парижа до голосования! Тогда во Франции настроение еще было решительно против войны. О голосовании германских социалистов французы тоже не знали. Следовательно, обе партии действовали безотносительно к поведению другой.

Здесь все осуждают Вейля[1]). Он стал рьяным французским патриотом. А какой он был всегда „законопослушный“ и как его ценили в Форштанде за его „дисциплинированность“!..

Либкнехт уверяет, что скорее понимает Вейля, чем Франка и К°.

Товарищи думают, что Франция едва ли способна будет дать серьезный отпор Германии. В Германии войско велико-

---

[1]) Германский социалист, эльзасец, находившийся в момент войны в Париже.

лепно действует. Большие надежды возлагают на генерала Кесселя и Эммиха. Война едва ли затянется.

... Роза Люксембург голосования не одобряет. Но на собрании, созванном Либкнехтом, не была.

Софья Борисовна в большой тревоге за брата. Он — льежский студент. Говорят, что все русские студенты в Льеже, даже социалисты, пошли добровольцами в бельгийскую армию. Не верится!..

Французские войска отбиты в Эльзасе. Новая победа немцев.

Черногория объявила войну Германии, это восемнадцатое объявление войны.

И нигде отпора со стороны рабочих...

15-го . . . . . .

Как я и думала, помощи от партии немецкой нет и нет. В „Форвертсе" появилась 6-го и 7-го заметка о том, что следует прекратить позорную травлю иностранцев, что среди них есть товарищи, особенно русские. Это все, что „Форвертс" поместил.

Между тем, выпущенных из Деберица товарищей снова арестовывают. Взят вторично т. Гордон. Опять началось выселение из квартир. Над всеми нависла финансовая забота.

Ходили в испанское посольство. Обещали послать в Россию телеграммы „родственникам". Но когда-то еще деньги прибудут. А товарищи голодают.

У Ларина сегодня было по этому поводу совещание. Чхенкели[1]) главным образом хлопочет о том, чтобы выбраться в Россию. Он считает, что сейчас там неизбежно наступит поворот в сторону либерализма, и что можно будет широко развернуть общественную работу, втягивая в нее массы. Но, по моему, он понимает эту работу, в смысле обслуживания войны.

Решили ехать к Хаазе втроем: Бухгольц, Чхенкели и я, чтобы договориться по трем пунктам: во-первых, есть ли надежда, что русских начнут выпускать? Если нет, то что может сделать партия, чтобы дать возможность товарищам перебраться в Россию? Во-вторых, что предпринимает партия, чтобы обезопасить русских социалистов от погромов? В третьих — опять денежный вопрос.

Хаазе на этот раз принял нас уже на-ходу. Он был очень благодушно настроен и опять повторял с лукаво-само-

---

[1]) Депутат Государственной Думы, меньшевик.

довольной улыбкой: „О, теперь с нами считаются! Теперь без нас не обойдешься!“

„Однако, в „Форвертсе“ до сих пор не появилась заметка о насилиях над русскими эсдеками“, — напомнила я Хаазе.

„Что делать! Военная цензура. Редакция выжидает момента“.

„Persona grata“ (личность, пользующаяся расположением), очевидно, бессильнее, чем ненавистная правительству красная партия, смело говорившая в печати то, что она думает.

На вопрос Чхенкели о возможности выехать в Россию, Хаазе отвечал в неутешительном тоне. Едва ли мужчин в призывном возрасте выпустят до конца войны. Но чего же русским, собственно, бояться? Не варвары же немцы? Чхенкели пытался выяснить Хаазе, почему, собственно, он рвется в Россию.

Хаазе насторожился:

„Думаете ли вы, что социалисты могли бы использовать момент и поднять в России протест против войны? Допускаете ли вы возможность восстаний?“

Мне не понравился тот неожиданный интерес, с которым он ставил нам подобные вопросы. Возможно, он предполагает, что русские социалисты собираются работать на руку кайзеру?

Чхенкели разъяснил, как он себе представляет работу в России: собирание общественных сил вокруг задач войны, использование патриотизма для борьбы с самодержавием.

Хаазе слушал Чхенкели и постепенно остывал. Кончилось тем, что завязался спор о Бельгии и Франции. Хаазе доказывал, что причина войны кроется в противоестественном союзе республиканской Франции с монархическо-автократической Россией и что сейчас Франция пожинает плоды своей высоко-ошибочной политики.

Когда я попробовала напомнить Хаазе о французских рабочих, он сделал опечаленное лицо, посетовал на слабость Интернационала и напомнил о голосовании французских социалистов за кредиты.

Стенка растет и растет. А Либкнехт еще уверяет, что Хаазе не патриот!

Мы рассказали Хаазе о том, что русские товарищи живут в невыносимо-нервной атмосфере, ожидая погромов.

Хаазе опять оживился:

„Да, да, мы это знаем. Не думайте, что Форштанд (Цека) забыл о русских товарищах. Несмотря на то, что мы завалены делами, вчера мы обсуждали этот вопрос. И Форштанд решил отвести в здании партии на Линден-

штрассе две пустые конторы, поставить кровати и иметь это помещение на-готове. В случае погрома, русские товарищи могут найти верное пристанище. Громить дом социал-демократической партии очумелые патриоты никогда не решатся. Власти также не захотят нам причинять неприятности, следовательно — там вы будете в безопасности. Форштанд даже ассигновал сумму на приобретение сорока кроватей и умывальников. Вы видите, мы не забываем нашего интернационального долга".

Чхенкели и Б. оказались вполне удовлетворенными этим решением, но мне оно кажется утопичным. Если погромы действительно начнутся, как же доберутся товарищи до намеченного убежища? И потом, разве так важно было найти убежище? Вопрос, по-моему, ставился совсем в другой плоскости. Мы ждали открытого протеста немецкой партии против погромов.

Чхенкели находит, что сейчас этого требовать нельзя и что я „витаю в эмпиреях"...

...Только что заходила добродушно-хлопотливая фрау Штубе (прачка по профессии). На себя не похожа: бледная, осунувшаяся.

„У вас свое горе, у меня свое",—а сама слезы утирает.— „Сына моего взяли... На Восточный фронт... А он же еще ребенок! На бойню послали... И вас-то мне жалко, и всех матерей, немок ли, русских ли... Не все ли равно?... Кто страдает теперь?... Матери!... Конечно, этого теперь не позволено говорить, но, по справедливости, кто начал войну, тот и пусть идет сражаться. Я бы в первую голову послала нашего кайзера да вашего царя. Пусть бы друг друга перестреляли. Это было бы справедливо. А при чем же тут бедный народ? Убьют сына — кто меня на старости кормить будет?... И за что губят наших мальчиков? Не понять. Мой сын да ваш сын, оба друг на друга похожи, такие же высокие да худые... И глаза, как у невинных детей. Чего же им друг друга ненавидеть? Зачем же им друг друга убивать?... И сами же мы, социалисты, всегда говорили, что пролетариат должен быть солидарен. Нет, видно придется нам, матерям, выйти на улицу!... На-те, перестреляйте раньше матерей, а детей мы своих на убой вести не дадим..."

Сына ее взяли в первые дни войны. С тех пор она ничего о нем не слышала.

— Спать не могу. Все чудится мне, что зовет он меня: „Помоги, мать, спаси!..." А как я спасу?... Виноваты капиталисты, а наши дети — умирай за них! Я не забыла, чему меня учили, откуда война берется!... С чего вдруг я буду вас ненавидеть? Только потому, что вы — русская?... Столько лет знакомы... Или ваш сын... Гляжу

на него и плачу... Точь-в-точь мой!... Как хотите, а надо матерям сговориться и устроить большую демонстрацию... Перестреляют? А их там не убивают, наших же детей!...

И ей, как и мне, безразличны победы и поражения. Что это изменит в конечном счете? Границы передвинет? Усилит власть тех или других национальных групп капиталистов? Права фрау Штубе: лучше было бы, чтобы на улице перебили тысячи, чем мириться с бойней сотен тысяч, с этим озверением, с этим торжеством шовинизма.

Но кто виноват, что партия оказалась такой дряблой? Неужели патриотизм в самом деле сильнее, чем классовая солидарность?

Бьет по нервам та растущая озлобленность к „врагам", какой насыщена атмосфера Берлина. Кругом только и рассказов, что о „зверствах бельгийцев". А о немецких насилиях в Бельгии почему молчите?...

Сегодня за столом передавали картинку со слов немецкого офицера о том, как немцы поймали бельгийского шпиона и в назидание не просто расстреляли, а подвесили головой вниз и подожгли... Вероятно, и этот рассказ преувеличен. Но характерно то, что его „смакуют", что симпатии все на стороне тех, кто изловил шпиона и кто казнит за подобное преступление. И тут же осуждают бельгийку, которую собирались расстрелять. Но когда германский офицер увидал, что она беременна, он ее „помиловал". Вместо благодарности бельгийка, однако, выпалила в офицера и убила его... Рассказ — явная несообразность. Откуда у арестованной могло быть оружие? Все это измышляется, чтобы представить немцев в свете „великодушия", а бельгийцев — „зверями". Но не это важно. Важно, симптоматично, что такие рассказы всегда вызывают взрывы патриотического негодования. И не только среди обывателей. Точно так же рассуждают социалисты. Будто ослепли на один глаз. Ко всему подходят с точки зрения интересов „отечества". Даже не вспомнят, что там, по ту сторону огня, такие же пролетарии...

В „Форвертсе" возмущаются, что бельгийцы и французы ведут войну „не по правилам", зачем пользуются франктирерами? Франктиреры (партизаны) стреляют из-за углов. Тов. Стеклов видит в этом протесте симптом того, что дела немцев на Западе вовсе не так блестящи, как они уверяют...

......17-ое.

Образовали нечто вроде комитета помощи нуждающимся русским.

Идея возникла у нас, когда собрались у Ларина (у него нечто вроде эмигрантской штаб-квартиры), чтобы обсудить

безысходность финансового положения. Многие буквально голодают. Заработки прекратились. Из России денег нет. Русских денег не меняют или меняют частным образом по невероятно низкому курсу, за 100 рублей дают 100 марок. По аккредитивам банки денег не выплачивают. Число нуждающихся русских растет. Совершенно не партийная публика осаждает Чхенкели, как думского депутата, требует помощи, защиты.

Тов. Б. предложил использовать деньги „Немецкого общества помощи русским каторжанам и ссыльным“. Там имеется еще около двух тысяч марок. В правление общества входит тот самый Э. Фукс, которого я на-днях встретила у Либкнехта, Симон — банкир, известный „друг России“ — богач Витт.

Образовали нечто вроде комитета. В комитет вошли пока все те же: Чхенкели, Бухгольц, Ларин, Дерман и я. Хотели привлечь к комитету еще Зюдекума. Но оказалось, Зюдекум уехал по поручению военного министерства в Скандинавию. Гере сообщил нам это „не без гордости“. Вот, смотрите, в какой мы, социалисты, теперь чести.

Что за поручение ему дали палачи мирового пролетариата? И как не стыдно ему принимать его?... Впрочем... На наклонной плоскости не удержаться.

Немедленно отправили меня с т. Б. для переговоров с банкиром Симоном.

Банкирская контора. Пустовато. Но все-таки приходится ждать.

И вдруг — длинная, вихрастая фигура Э. Фукса. Его-то и надо было.

Но он не дает нам говорить. Он сам накидывается на нас с упреками:

— Удивительный вы, русские, дезорганизованный, безъинициативный народ!... Так вы никогда своего царя не свергнете! Отчего вы всегда от других ждете помощи? А вы толчетесь все вместе, заседаете, обсуждаете... И дело, живое дело — ни с места!... Нужны деньги? Так чего же проще! Обратитесь к русским богачам, заставьте их из патриотизма порастрясти кошельки свои... Думаете нет сейчас русских богачей в Берлине? Сколько хотите. Подите в наши богатейшие отели, в Адлон, в Бристоль, в Эден. Надо же заставить этих сытых скотов почувствовать неприятности войны. Они и не подумали, что в Берлине скопилось много тысяч нуждающихся русских. Так мы заставим их всполнить свой долг.

У Фукса уже готов план „Комитета помощи неимущим русским в Берлине“.

Мы с Б. сопротивляемся, нас послали сюда, чтобы столковаться о том, как оказать помощь партийным това-

рищам и рабочим, но вовсе не всем „неимущим русским“.

Фукс сердится:

— Что за узость! Неужели вы не понимаете, что сейчас война и дело идет о пленных? Да, да, о пленных, фактически вы все пленные. Не будете же вы проводить среди пленников классовые различия? Не позволите же русской учительнице голодать только потому, что она не работница и не эмигрантка? Конечно, в первую очередь надо помочь товарищам. Но чтобы и это провести практически, а не в образе благих пожеланий, надо дело поставить совершенно в иные рамки. Что такое эти две тысячи марок общества каторжан? Капля в море. Надо иметь в руках десятки тысяч, тогда мы нужду облегчим. А чтобы иметь эти средства, следует прежде всего легализоваться. Вы говорите, у вас уже образован комитет. Кто такие? Русские социалисты? Кто вам позволит собирать деньги, распределять?... Да вас немедленно всех переарестуют. Нет, прежде всего следует заручиться полномочиями от испанского посольства. Там сидят бездельники и лентяи! Я уже дважды там был и успел со всеми переругаться. До сих пор не послана телеграмма с требованием денег для оказания помощи русским подданным. Что за халатность! Что же, вы воображаете, что немецкое правительство будет вас, русских, кормить на свой счет? У нас и без вас довольно голодных ртов теперь. Нет, мы заставим испанское посольство пошевелиться! Мы их разбудим, к чорту их испанская лень! Надо действовать!

План Фукса по оказанию помощи нуждающимся русским состоит в том, чтобы через испанское посольство добиться выдачи русским денег из банков по аккредитивам, но с условием: при получении денег из банка, посольством удерживается определенное отчисление, которое должно итти в фонд помощи нуждающимся русским. Если деньги начнут поступать из России через посольство, то следует определить также отчисления в пользу фонда.

— Таким образом, мы обложим богачей в пользу неимущих. Классовое деление, о котором вы заботитесь, будет соблюдено, — шутит Фукс.

Одновременно Фукс рассчитывает добиться от испанского посольства полномочий, чтобы собрать „контрибуцию“ с денежной русской публики, проживающей в отелях-дворцах.

Решено было передать предложение Фукса и банкира Симона на обсуждение товарищей и если план будет одобрен, сегодня же отправиться в испанское посольство.

У Ларина нас ждали. Ларин отнесся скептически к плану Фукса. Чхенкели, наоборот, за него ухватился. Рус-

ские донимали его, как члена Думы, своими просьбами. Но главная его забота — добиться права отъезда в Россию.

Не дождавшись Фукса, вдвоем с Чхенкели едем в испанское посольство. Депутата Государственной Думы, которого уже все там знали, приняли вне очереди и весьма любезно.

— Насчет выезда?... Пишем, посылаем депеши. Хлопочем, — рассыпались перед Чхенкели любезные испанцы, но дальше штемпелевания наших удостоверений личности, мы в тот день никаких результатов не добились. Полномочий нам на собирание фонда не дали. Сослались, что вопрос может быть разрешен лишь компетенцией самого посланника, конта Молиньо.

На лестнице, во дворике посольства, на улице за чугунной решоткой, как всегда, толпились русские. Самая разношерстная, по социальному облику, публика. Все чего-то ждали от посольства. Давили друг друга, стремились проникнуть в канцелярию. И все это, чтобы услышать в канцелярии: „Мы ничего не знаем... Мы не получили от вашего правительства инструкцию. У нас нет русских денег". В утешение русским, ставили на паспортах витиеватую подпись конта Молиньо.

Вечером приехал Фукс. И прежде всего круто выругался. Зачем без него ездили в посольство? Не с того конца начали. Инициатива должна была исходить от немцев, взявшихся защищать интересы русских граждан.

Фукс привез деньги общества ссыльных для распределения среди самых нуждающихся. Вызвали т. Б. Распределили. Наметили план работы на последующий день. Оповестили наших.

Деятельность нашего нелегального комитета помощи началась.

С утра отправились с Фуксом в посольство. Надо было добиться свидания с самим „конто". В посольстве ждали нас Витт и Б.

Но когда мы попросили свидания с посланником, оказалось, что „конто" только что вышел на прогулку!... Счастливая случайность помогла нам. На лестнице мы наткнулись на самого „конто". Я остановила его и попросила аудиенции для немцев, желающих оказать русским денежную поддержку. Слово „денежная" произвела впечатление и „конто" пригласил нас в кабинет.

Фукс пустился в красноречие о том, что „мы, немцы, не варвары. Мы хотим показать миру, что мы — нация культурная и что нам вовсе не чужды гуманитарные чувства. Мы готовы взять на себя всю тяжесть черной работы по оказанию помощи русским гражданам, находящимся в безвыходном положении, благодарность же и звезду в награду

за оказанные царскому правительству услуги — предоставим получить вам, испанскому посольству".

Не знаю, понял ли любезный „конто" все, что говорил ему Фукс, но в результате, в руках у нас оказалась его карточка с надписью сделать для нас все, что можно. С ней мы направились к секретарю посольства. Длительные переговоры и большая нерешительность секретаря и некоего господина, которого звали „г-н министр" (советник посольства), заставляли Фукса неоднократно возобновлять натиск красноречия. Наконец, нам выдают нечто вроде рекомендательного письма, удостоверяющего, что испанское посольство дает разрешение шести русским произвести среди русских же сбор в пользу нуждающихся. На сегодня назначено начало наших дежурств в самом посольстве для раздачи денег в первую очередь — рабочим [1]).

— Ну, а теперь едем „побираться",—безапелляционно решил Фукс.

Я попробовала отговориться.

— Что? Вы не можете? В военное время таких слов, как не могу, — не существует. Мы все — сейчас солдаты на посту. Все личные дела — к чорту! Вот у меня лежит корректура четвертого тома, а я и не думаю за нее браться. Теперь время не слов, а дела. Итак, едем.

Фукс умеет заставить людей делать то, что он хочет. Его неутомимость заражает. Эстет и культурник — он умеет и действовать.

...Софья Борисовна (Либкнехт) страшно расстроена: в газете появилась фотография Карла, но к его действительной карточке приделали военную форму. И в заметке говорится, что Либкнехт записался в добровольцы на фронт. Гнусность! Главное нельзя опровергнуть.

Либкнехт ждет, что его мобилизуют.

— В таком случае я попрошусь в санитары.

Ему органически претит роль „комбатанта" (бойца) против своих же товарищей, французских или русских пролетариев.

А Германская партия катится и катится по наклонной плоскости шовинизма. Да разве сейчас есть партия? Есть— „единая Германия"...

Смутно доползают до нас слухи о том, что творится в Бельгии. Газеты полны самохвальства, победа за победой.

— Не напоминают ли вам наши газеты цирковые объявления? — Что ни день, то новая победа, да и не просто победа,

---

[1]) Большинство рабочих из России работало в сельских хозяйствах восточной Германии.

а победа крупнейшая, величайшая, небывалая... Точь-в-точь цирковый плакат о представлениях „гран-галла“.—С горечью отмечает Либкнехт.

С ним одним чувствую себя легко. Ведь и у наших (в колонии) „патриотизм“, что ни день — четче и острее.

19-го.

Победа германской армии над русской у Сталлупенена. Знакомая пограничная станция. Тихая, мирная. Широко-раскинувшиеся, аккуратно-возделанные поля. Прямые прусские дороги, обсаженные редко растущими деревьями. Я всегда сравнивала их со сторожевыми солдатами... Кирпичная аккуратная станция, синие мундиры „шафнеров“ (кондукторов), что-то степенное, мирное и скучно-благодушное...

Теперь там — ад сражения.

Балканы неизбежно втягиваются в войну. Ожидают выступлений Турции.

В газетах протест против „варварств“, творимых русской армией на территории Пруссии. Германия грозит России.

Японский ультиматум Германии — требование передать Киаочау. Япония дает Германии семидневный срок для ответа.

Наступление немцев в Бельгии продолжается.

...Все эти дни бегаем то с Фуксом, то с Б. по богатым отелям. „Побираемся“. За два дня собрали свыше двух тысяч марок. Все-таки реальный результат.

Нужда становится кричащей.

Но пока еще положение комитета помощи совершенно не оформлено. Уже был запрос от полиции испанскому посольству относительно нашей деятельности. Когда члены Комитета помощи явились в здание посольства на дежурство по раздаче собранных нами сумм, любезные испанцы заявили, что не могут позволить „посторонним лицам“ распоряжаться в здании посольства.

Напрасно Фукс расточал свое красноречие.

— Impossible (невозможно), — любезно, но твердо-лаконически заявляли испанцы и добавляли: — Не забудьте — военное время.—Перед этим доводом умолкает даже Фуксовское красноречие.

Вообще Фукс — оригинальный тип.

Оказывается, он заинтересовался судьбою русских случайно. Кто-то из русских, проживающих в той же части города, что и Фукс, обратился к нему за помощью. Фукс воспламенился.

И с тех пор, забросив свое издательство, носится по различным ведомствам, чтобы отстоять того, кого гонят

с квартиры, высвободить больного из Деберица, снабдить деньгами мать с малыми детьми... Он верит в то, что и во время войны „право“ и „справедливость“ должны соблюдаться. И не желает считаться с „особым положением“ военного времени.

Выпотрошив из своего огромного портфеля корректуры, Фукс наполнил его „делами о русских“ и неутомимо, на своих журавлиных ногах, носится из одного конца города в другой.

Вчера, во время обхода отелей, у нас вышел веселый инцидент, характерный для Фукса.

Выходя из отеля, мы заметили, что за нами последовал весьма солидного вида господин, прекрасно одетый и не похожий на обычных немецких шпиков.

— Доброволец! — решил Фукс: теперь их много развелось. Хотят служить отечеству и показать свою гражданскую доблесть, оставаясь в тылу, в безопасноети. Вот я ему покажу, что такое „тыловая безопасность“.

Фукс неожиданно оборачивается и вплотную подходит к нашему провожатому, выразительно помахивая своей солидной тростью.

Господин забеспокоился, завернул за угол. Фукс, за ним. Роли переменились: шпик улепетывал от Фукса, а Фукс на своих длинных ногах, настигал его, громко бросая угрозы „негодяям“, желающим получать награды, не подвергаясь опасности боевого огня...

Фукс — хороший психолог.

Неприятная обязанность обхода русских богачей скрашивается удивительным уменьем Фукса найти тон, который заставит соотечественников развязать кошелек.

Приходим в отель Бристоль к „сановному лицу“. Фукс сух, но деловито импонирует. Приводит цифры (выдуманные), выражает уверенность, что русский патриотизм заставляет страдать чиновное лицо от полной бездеятельности на благо России. Случай проявить патриотизм — налицо. Русские могут показать немцам, что им невыносимо тяжело получать „подачки“ от вражеского правительства.

Сановник внимательно перечитывает рекомендательное письмо испанского посольства и раскрывает бумажник.

Купчик. Молодой, очевидно, с „деньгой“. Но прижимистый. Фукс весьма кстати намекает, что если русские добровольно не помогут друг другу, немецкое правительство не постеснится конфисковать все их имущество.

Купчик поспешно спрашивает: „Сколько?“

Фукс выдает квитанцию, и мы идем дальше.

Дама, титулованная. Возвращается с курорта. Сундуки, шелка...

Фукс здесь забывает о цифрах. Он бьет по чувствам. Дамы плачут, утираясь батистовыми, продушенными платочками.

— Какой вы идеальный человек! Побольше бы таких!.. Ах, и в Германии есть святые люди.

Дама роется в ридикюльчике.

— Довольно? — глядит на Фукса вопросительно-неуверенно.

Фукс молчит.

Дама выкладывает еще бумажку.

— Довольно?

— Пока — да, — невозмутимо отвечает Фукс. И пишет расписку...

В итоге — две тысячи марок.

Русских, проживающих в отелях-палаццо, полиция совершенно не беспокоит. Наши рассказы о том, что переживают сейчас неимущие русские, не пользующиеся привилегией жить в гостиницах-дворцах, встречаются удивленным возгласом:

— Скажите! Неужели? Как странно! А нас не тревожат совершенно. С нами очень любезны. Никаких неприятностей.

Дама в бриллиантах жалуется на тяжелое „материальное положение“.

— Приходится жить вдвоем на 300 марок в месяц!

Наши рады, если у них марок 40!

„Война несет с собой сглаживание классовых противоречий“...

23-го августа.

Новый показатель „социального мира“ в Германии: правительственным распоряжением разрешена продажа „Форвертса“ на вокзалах и в киосках подземки...

Крупное поражение французов в Лотарингии, взято десять тысяч пленных. Среди них, наверное, есть социалисты. И на это никто не реагирует. „Форвертс“? — Меньше всех!..

Опять флаги, флаги, флаги. Вспоминают победы 71 года. „Обожание“ кайзера достигает неприличных размеров.

Брюссель занят войсками, а там свои, близкие...

...Все эти дни некогда было писать. К вечеру валилась с ног от усталости, — все наш злосчастный Комитет помощи.

Сейчас он уже не существует. Преобразован. Вместо него — действует официально признанный немецкий Комитет, слившийся с еврейским Комитетом помощи русским подданным. Инициатором этой реформы явился все тот же Фукс. Его поддерживал Чхенкели. В Комитете участвуют

также и русские, но уже не из колонии, а люди „посолиднее“: профессор Кареев, инженер Енакиев и т. д. Впрочем, Чхенкели, в качестве думского депутата, также вошел в его состав. Действуют они с благословения генерала Кесселя и при содействии властей. Фукс доволен.

А я немедленно отошла.

Правда, меня продолжают еще осаждать русские всякими просьбами (аресты не прекращаются, выселение из квартир продолжается), но если и делаю что, то уже „неофициально“.

Пока возилась с комитетом, мелкие делишки совсем заслонили мировые события. Будто война на втором плане. Но это был лишь самообман. Война — есть, она ощущается в каждом биении пульса жизни.

Разве это прежний Берлин? — Такой озабоченный, присмирелый в будни и такой болезненно-взвинченный, крикливый, но не радостный в дни побед...

Рабочие собрания сократились в числе, но не прекратились. Безработица...

Цены растут по часам.

Навестила свою приятельницу, тов. Либегут. Голубые глаза ее стали еще больше. Глядят испуганно-недоуменно. Мужа, не просто мужа — товарища, угнали на войну. И ни звука от него! Где он? Даже не знает, на каком фронте. Пока — справок не дают.

Этого мало. Родители ее жили на русской границе. При вторжении русских войск, сгорела вся деревня. Оттуда есть беженцы. Тетка Либегут убита пулей. Что сталось с родителями — неизвестно.

Но Либегут не приходит в патриотический экстаз и не ужасается „русскими зверствами“. Она скорбит о муже, о войне, о тех ужасах, какие война несет с собою... и жалеет всех комбатантов (бойцов).

Тут же призрак нищеты. Заказов — нет. Кормилец на войне. Пособие выдается — 9 марок в неделю и 6 марок дополнительных на ребенка. А у Либегут на иждивении две безработные сестры. Изволь прожить сам-четыре на 15 марок при растущей дороговизне...

У церквей всегда толпы. Главным образом — женщины. Под руку с сыном или мужем в военной одежде... Моление перед разлукой.

Толпы женщин перед плакатами, вывешенными на дверях правительственных учреждений. Списки раненых... Списки убитых...

Читают молча. Отходят с тяжелой заботой на лице. Все больше — скромно одетые женщины, не знать.

Я видела, как одна прочла список убитых и так и застыла с платком, не донесенным до глаз... А глаза не пла-

кали, только тупо-безнадежно глядели на список... Жутко-тихо около этих списков, как в погребальнице...

23-го августа.

...Первые дни меня угнетало сознание, что германская партия разбита, что после такого поведения с ее стороны— престиж ее навеки подорван.

Сейчас я смотрю на это иначе. Мне кажется, что так даже лучше. Исторически лучше. Социал-демократия уперлась в тупик. В ней иссякло творчество. Все ее действия были трафаретно-повторны. Она застыла в установленных формах, не было в ней „духа живого", не было строительства. Началась полоса власти традиций, рутины.

Меня все время поражало, что в партии не выдвигаются крупные новые фигуры вождей. А это — знак застоя. Период творчества, исканий всегда дает яркие фигуры. Двадцать-тридцать лет тому назад германская социал-демократия создавала свою политику и тогда сколько выдвинулось крупных вождей! А за последние годы — никого. Творческая личность выявляется, когда есть поле для созидания, когда „духу" есть простор. А в этой обюрократившейся среде — даже свежих мыслей начинали бояться. И не дай боже пуститься в „критику". Что Форштанд решил — то свято.

Естественно, что когда грянула война — массы, отученные сами думать, взвешивать, рассуждать, — покорно и послушно ждали „пароля"!.. Осаждали „районы" — что делать? А в районах тоже ждали — что прикажет Форштанд? А Форштанд — сам растерялся. Он тоже не привык к „неожиданностям"...

Вспоминаю вечера в кафе Иости, в обществе Гейне, Франка, Штампфера. „Молодых", подававших надежды. А на самом деле — законопослушнейших бесцветностей, всегда шедших за Форштандом. Без этого послушания, без этой „правизны" — уже нельзя было сделать в партии карьеру.

Либкнехта обходили. Роза? — Ну, ее-то Форштанд побаивается, а все-таки, где можно — устранял. А этих „представителей пролетариата", карьеристов, никогда ничем не пожертвовавших ради класса, Форштанд гладит по головке... Их кандидатура выставлялась в рейхстаг, их выбирали на съезды...

Мне эти „многообещающие" Франки и Штампферы напоминают „жрецов" эпохи разложения язычества. Сидят по вечерам в кафе Иости и злословят. Злословят, ябедничают, высмеивают все, что в показной жизни партии принято считать „священным" и „непогрешимым": людей, постановления Форштанда, политическую линию момента — обо всем зубоскалят. Мелко, надменно, цинично...

Ничего подобного не было возможно с Бебелем, с Адлером, с Каутским... Этим же „многообещающим“ партия была нужна, как трамплин для прыжка в депутатские кресла. Рабочее движение? — Оно „подвержено эволюционному процессу“, а политика, по существу, не более, как игра...

„Все для толпы... Мы — умнее. И потому мы прежде всего блюдем свои личные интересы“.

Так, казалось мне, думали эти карьеристики от социализма.

И число таких росло.

Не самоотверженность, не мучительное искание путей, не нетерпеливый напор вперед — руководили партией, а бюрократическая машина, проповедающая осторожность, дисциплину и рутинную организованность...

Как же было партии дать отпор войне? Как же ей было не спасовать перед контр-силой вздутого патриотического воодушевления?

Война загнала партию втупик, но сюда она зашла еще до войны.

Но может быть, именно теперь, сейчас начнется пересмотр, критика? А раз критика — значит и творчество.

Больно, досадно было первые дни. А сейчас я уже чувствую, что так было неизбежно. И что так лучше. Должно начаться что-то новое. Переоценка ценностей! И уже больше германская социал-демократия не будет давить на рабочее движение всего мира своим невероятно-тяжелым бюрократическим аппаратом и своей образцовостью, от которой мы начинали задыхаться...

23-го августа, вечер.

Полная оторванность от мира. Что делается там, за боевой линией? В России? Во Франции? Новости доходят до нас профильтрованные цензурой. Бывают невероятные курьезы. Так, например, сообщение о бомбардировке Одессы „Потемкиным“. Таковы, вероятно, и слухи о „восстаниях“. Пишут о том, что в России даровано равноправие полякам и евреям. Одно очевидно: курс политики повернут на либерализм. Ищут и там опоры — у оппозиционно-настроенных групп населения. Пресловутое „единение классов“ перед лицом врага. „Защита“ несчастного отечества!..

По мнению тов. У., Россия вынуждена защищаться и поражение России совершенно не даст тех эффектов, какие повлекла с собою японская война.

Спорили.

Курс на либерализм свидетельствует назначение новых министров. Вместо Щегловитова — называют старика Кони, вместо Кассо — Кузьмина-Караваева. Манифесты к полякам,

к финляндцам, к евреям... Слухи о революционном брожении. Об амнистии. Где вымыслы? Где действительность?...

Живем „угадками".

В колонии хотят верить в либеральную эру в России. Т. Стеклов считает ее „неизбежной" и исторически-продиктованной. И от этой веры в колонии растет „русский шовинизм".

Промелькнула светлая весть, но боюсь в нее поверить. Как могла она просочиться в немецкие газеты? В „Форвертсе" — корреспонденция о поведении наших депутатов в Думе. Яркая социалистическая речь Хаустова.

Прочла, и дыханье захватило... Это был миг счастья, истинного счастья! Значит не все предали солидарность? Значит в России товарищи остались интернационалистами?

В колонии „мой пыл" охладили. Чхенкели и Сазонов уверяют, что эта заметка составлена в бюро прессы „Верховного Командования", чтобы убедить в непопулярности войны в России и придать духу бойцам...

Странное зрелище представляют собою городские мосты и вокзалы городских дорог. Они — под охраной „добровольческой полиции". Юнцы-школьники в картузах с повязкой на руке, старые папаши с животиком, с важным видом, с двустволкой... На шее намотан шарф — от простуды, на близоруких глазах — очки, а вид — свирепейший... Не подходи — подстрелит! Говорят, их обучают стрелять. Это своего рода ополчение...

Сейчас идет переброска войск. И опять под мостами Халлензее ежедневно непрерывной лентой тянутся поезда, увозящие на фронт „пушечное мясо"...

Но уже картина иная. Нет энтузиазма, нет проводов с цветами... И солдаты имеют иной вид. Не горланят, не „играют" в бесстрашие. Особенно те, которых перебрасывают с фронта на фронт. Лица загорелые, насупленные. Копошатся в глубине товарных вагонов и на праздную публику, глазеющую на них с моста, посматривают неодобрительно, зло... Если публика кричит „ура", они не пошевелятся. Будто не к ним относится... Эти уже побывали в огне. Эти уже знают, что такое война...

24-го.

Япония объявила войну Германии. Считают, что непосредственно на ход войны это значения большого иметь не будет. Но германский патриотизм это объявление еще подхлестнуло.

„Победить во что бы то ни стало; против нас весь мир, но за нас — германские выносливость и культура".

С прусского театра войны — противоречивые сведения. Будто дальнейшее продвижение русских приостановлено. Тов. Стомониаков считает, что за дальнейшими „умалчиваниями“ кроются германские поражения. Но чьи бы ни были поражения или победы, — какой в них толк, пока пролетариат не осознал необходимость бороться за лозунг мира?

...Фрау Штубе пришла ко мне затихшая, печальная.

Хочу спросить и боюсь.

Сама заговорила:

— Вчера получила письмо от сына. Ранен. Пишет из лазарета. „Мать, не беспокойся, рана не опасна...“ А письмо написано чужой рукой. Просит денег...

Не плачет. Горе подрезало муки ожидания. Свершилось.

Но уже не говорит о демонстрации матерей...

...Она ушла. А я поехала к тов. Б. Пролетарка чистокровная. Всегда отличалась здравым смыслом. Неужели и она не поймет?

У Б. несколько других товарищей. Матильда В. Спешат все „на призыв“ по организации помощи пострадавшему от войны населению.

Заговариваю о необходимости демонстрации женщин-работниц. Пусть голосовали мужчины, матери должны сказать свое слово!

— Демонстрация? Теперь?.. Против войны?

На меня глядят с изумлением, с недоверием.

Невозможно... Военное положение... Массы не поймут...

...И надо всем гнетет сознание: разбита мировая пролетарская солидарность. Что теперь будет?

Можно выпустить хотя бы манифест. Зафиксировать свое отрицательное отношение к войне. Вспомнить солидарность... Запротестовать против погромов, зверств, разгула шовинизма. Бросить клич — „мира“.

Неосуществимо. „Равенство“ (орган, издаваемый К. Цеткин) конфискован. У Цеткин был обыск. Война — факт. Никакими манифестами или призывами дела не изменишь. Все, что могут делать сейчас женщины, — это облегчать положение пострадавшего от войны населения, устраивать столовые, налаживать лазареты... Работать в обществах помощи...

Но ведь это то, что проповедует буржуазия... Вы собираетесь работать по линии, намеченной Красным Крестом.

— ...Красный Крест сейчас делает полезное дело, — наставительно вмешивается Б. — Теперь не время для полити-

ческих счетов. Надо спасти Германию. У ней слишком много врагов и завистников... Германии не могут простить ее слишком быстрых экономических успехов... Мы сознательно временно объявляем буржуазии перемирие. Но это не значит, что мы отреклись от своих идеалов. Вы видели, стачку металлистов мы провели и выиграли. С отдельным предпринимателем—мы мира не заключаем. Но перед лицом врага—Германия должна быть едина.

Недавняя радикалка Матильда В. доказывает мне всю пользу работы в дамских комитетах со всякого рода „принцессами“ и „графинями“.

„Принцесс“ приучают „уважать“ работниц. А работницы в этих благотворительных организациях учатся „самодеятельности“, чего же лучше?!..

Признают, что необеспеченность пролетариата, голод растет с каждым днем. Но городское самоуправление уже наметило план помощи. Пособия солдаткам будут увеличены, квартиры за семьями призывных обеспечены... Одним словом, воюющая Германия создает у себя почти социалистический рай...

„Но работницы уже сейчас требуют мира!“

„Да, они войне не сочувствуют, но это потому, что они ее не понимают... За мир мы сможем бороться тогда, когда обезопасим себя от вторжения русских войск... Не забудьте—победа царизма — означает разгром социал-демократии...“

Будто она и так уже не разгромлена?

Так и расстались—холодно, не поняв друг друга.

Не хочу победы России! Почему же они хотят победы кайзеру?

Либкнехт надо мной пошутил:

— Если вы желаете поражения России—вы плохая интернационалистка! Не меньше желательно поражение Германии.

Так надо желать поражения обеих?... Но как это сделать?...

...Вышла перед сном на балкон. Ночь летняя. Тихая. Звездная. Берлин спит. Где-то поют „Wacht am Rhein“. Шаги ночного полицейского обхода гулко стучат по пустому тротуару. Ветерок доносит запах цветов из ближайших садиков...

Все такое знакомое, обычное.

А в душе тревожно ворочается вопрос: что ждет нас завтра?..

В эти часы редкого одиночества вдруг с полной четкостью осознаешь, что живешь в эпоху великого мирового катаклизма.

Что несет он с собою?

Вырастает сознание тщеты всего, что до сих пор ценилось и чтилось. Призрачны радости, призрачны личные

устремления, желания, мечты... За три недели войны человечество научилось многое понимать: что деньги — ничто, материальные блага — потускнели... Искусство, наука, удобства, развлечения — все относительно, все так мелко по сравнению с тем, чем живет сейчас мир.

Жуткие события. Не ухватить, не осознать... И все же впервые реально, не умом, а нутром понимаешь близость, неизбывность, естественность смерти. Смерть стала ближе, чем жизнь.

Жизнь — призрак.

Смерть — реальность.

И рядом—ощущение мирового сдвига.

Вчера еще социалисты теоретически доказывали возможность, необходимость регулировки цен на продукты. Сегодня — это факт, факт, продиктованный соображениями целесообразности. Вчера еще рабочие боролись за расширение области страхования, за замену его социальным обеспечением... Сегодня германское имперское правительство переводит детей мобилизованных на общественное попечение... Матерям выдается пособие, детей питают безвозмездно, на детей выдается вспомоществование...

Что это, как не осуществление под давлением необходимости, пункт за пунктом программы-минимум?

Вчера мы теоретически отстаивали эти пункты, доказывали их полезность, сегодня враги пролетариата спешат их осуществить. Что это показывает?—Что правы были мы, когда указывали, что наши требования отвечают назревшим интересам социального коллектива. Чтобы не погибнуть в момент катастрофы — буржуазное общество хватается за проведение мероприятий из нашей же программы. Значит, наши требования—не „утопия?" Значит, после войны уже не придется доказывать их осуществимость. Это будет „азбучная истина". Пролетариат сможет бороться за нечто бо́льшее.

Взять вопрос „народного вооружения". Чем не милиция сейчас? Все граждане мобилизованы, все призывные. Регулярная армия разбухает, демократизируется... Кто скажет, что это явление в себе таит?...

25-го августа.

Величайшая в мире битва идет на бельгийском фронте... Ощущение тоски и бессилия. Каждая секунда насыщена муками десятков тысяч солдат по обе стороны огня... Рабочие, рабочие, рабочие...

Газеты объясняют, что отступление немцев у Инстербурга продиктовано „стратегическими соображениями". Это подтверждает уверенность т. Стомониакова, что продвижение русских продолжается.

...Вернулись из полицейского участка. Отмечались. Сегодня наш блюститель порядка был особенно грозен.

Входим.

А он, не обращая на нас внимания, кричит не своим голосом:

— Перестрелять надо мерзавцев! Всех, без пощады!... Выведите команду во двор!.. Они — близки! Пощады — никому.

И пристав с усами, зачесанными по-вильгельмовски, бросается к раскрытому окну, чтобы найти на небе два приближающихся аэроплана.

— Die Franzosen (французы), — поясняет он в нашу сторону.

И снова бросает отрывочные распоряжения.

— Позвольте доложить, — возражает вошедший полицейский чин. — Это — германские летчики.

— Наши? А-а!.. Это другое дело, — сразу сбавляет тон наше усатое начальство. — Во всяком случае, отметьте в книге час прлета, направление, приметы и прочее. Теперь все должно быть на счету, зарегистрировано. Никаких упущений! И никому спуску не давать! — в пространство, но грозно кидает охранитель безопасности Германии...

26-го августа.

Немцы терпят поражения в Восточной Пруссии. Отступили.

В колонии радуются: „понавалил на них русский медведь, пожалуй, сюда докатится“.

Кто „докатится“? Русские генералы?

Непонятная радость.

...Т. Генриэтта Дерман говорит, что обстановка, в которой мы живем, хуже ссылки.

„Кругом были товарищи, свои... Было сочувствие. А здесь — чувствуешь себя „врагом“. Что-бы с тобою ни произошло, — скажут: и поделом!..“

Эти дни у наших настроение нервнее. Начались новые аресты среди русских.

...Газеты принимают все более и более самохвальный тон. „Победа за победой“. Делается неловко их читать, как в присутствии нагло расхваставшегося человека.

30-го августа.

Встретила Фукса.

Он конспиративно отозвал меня в сторону и вполголоса сообщил:

„Поезжайте немедленно в колонию и пусть все члены прежнего комитета помощи явятся в квартиру т. З. ровно в 5 часов, только члены. Больше — ни души. Дело, не терпящее отлагательства. И весьма конспиротивное Итак, ровно в пять. Скажите вашим — пусть не опаздывают“.

Что задумал Фукс? В чем „конспирация?“ Может быть, организуется группа интернационалистов?

В 5 часов — все в сборе. На квартире у З.

Здесь уже Фукс и Гере (член немецкой партии, бывший священник).

Раз Гере здесь — значит, о нелегальной группе нет и помину. Гере — ярый патриот.

Не успели разместиться вокруг круглого стола — вопрос Гере:

— Скажите, а вы серьезно желали бы вернуться в Россию? Вопрос обращен к Чхенкели.

— Разумеется. Мы все время об этом хлопочем.

— А какие ваши намерения? Т.-е. для чего вам собственно непременно хочется вернуться в Россию в такое тяжелое время? Вас же здесь не беспокоят.

Чхенкели горячо объясняет свои намерения — использовать курс на либерализм в России, усилить влияние партии и рабочих.

— И вы говорите, что рабочие в России вовсе не сторонники войны?

С. и Чх. оспаривают это положение, но уверяют вместе с тем, что война в России „не популярна“, что она не носит характера войны народной.

Гере и Фукс переглядываются.

В чем дело?

Наконец в пространных выражениях Фукс сообщает нам, что несколько товарищей - немцев, обеспокоенные за нашу участь, решили посодействовать нашему отъезду из Германии.

Гере его перебивает:

— Но раньше, чем поделиться с вами нашим планом — дайте слово, что то, что мы вам сейчас скажем, никто и никогда не узнает.

Гере протягивает каждому из нас в отдельности руку — знак клятвы.

Торжественная минута молчания.

Фукс продолжает.

— Дело в следующем. Представляется совершенно неожиданная возможность устроить отъезд русских революционеров. Как, каким способом — это вас не касается. Я сам связан честным словом, а всякая болтовня может испортить дело. От вас мы ждем лишь: во-первых, согласия на отъезд, во-вторых, предоставления нам точного списка русских рево-

люционеров, желающих немедленно покинуть Германию. Фракции — нас не касаются. Могут быть и социалисты-революционеры.

Предложение было крайне неожиданно, но и неясно.

Кто предлагает организовать отъезд? Кто дает денег на осуществление этого плана? Почему такая торжественная таинственность вокруг предприятия?

Как раз накануне в колонии у нас было совещание по поводу шагов, которые мы намеревались снова предпринять для получения права выезда из Германии. Ходили слухи, что единичных лиц начали пропускать через северную границу.

Так как к нам не раз обращались немецкие товарищи с наивным вопросом: не могли ли бы мы пробраться в Россию, чтобы там, пользуясь непопулярностью войны, поднять восстание, — на совещании принята была следующая резолюция: обратиться в Форштанд с просьбою добиться выезда из Германии некоторых товарищей, в первую очередь Чхенкели и С... Но, в виду того, что у немецких товарищей существует ложное представление, будто русские, из ненависти к царизму, будут содействовать планам Вильгельма (дезорганизация тыла), заявить Форштанду, что разрешение на выезд не может быть обусловлено никакими условиями.

Предложение Фукса невольно заставило насторожиться, призадуматься.

Начали ставить Фуксу и Гере вопросы. Фукса это явно раздражало.

— Уж эти русские!.. Вечно у них „принципиальные соображения“! Расстроите наш план, а потом сами начнете хныкать, что сидите пленниками, вместо того чтобы стоять на живой работе... Доверяете ли нам или нет? Если да, то нечего ставить некорректных вопросов. Мы с Гере связаны обещанием не раскрывать инициаторов плана... Впрочем, как хотите! Если вас наше предложение не устраивает, мы вас неволить не станем. Дело ваше.

Решили тут же, при Фуксе и Гере, „посоветоваться“.

Чхенкели и С. настаивали на приемлемости предложения. Ларин, тов. Генр. Дерман и я требовали „гарантий“. Наконец, согласились на том, что я сделаю декларацию в духе вчерашней резолюции. Если отъезд наш действительно организован группой товарищей и сочувствующих и если он не связан ни с какими обязательствами, тогда мы готовы положиться на такт инициаторов этого предложения и примем его с благодарностью. Честь немецких товарищей и сознание их ответственности перед Интернационалом — для нас порука.

Гере и Фукс выслушивают меня несколько нетерпеливо.

— Само собою разумеется, что мы с вас никаких расписок брать не будем! — раздраженно бросает Фукс, — но вы,

русские, всегда умеете примешать к делу принципиальную несговорчивость, которая способна отбить у всякого охоту иметь с вами дело... В том положении, в каком вы находитесь, вы должны были бы схватиться обеими руками за наше предложение... Какое вам-то дело, как, какими способами мы организуем отъезд? Лишь бы выбраться. Во время войны — мораль к чорту!

— А Форштанд знает об этой затее? — справляется Ларин.

Фукс и Гере переглядываются.

— Мы уже сказали вам — мы оба связаны словом. Доверяете вы нам или нет? Если нет — нечего больше разговаривать. — Это заявление Гере. Оно звучит категорично.

Кто-то ставит вопрос о деньгах.

Подсчитывают число едущих; наберется человек шестьдесят. Обойдется до 6.000 марок.

Гере цифра не смущает. Он заносит ее в свою записную книжечку.

— Денежный вопрос вас тоже не должен заботить, мы это дело беремся уладить. Итак, составьте списки к сегодняшнему вечеру. Медлить нельзя. Вы должны выехать завтра же.

Вышли.

Недоуменно - тревожно на уме.

Что за этим кроется?

Идем с тов. Генриэттой Дерман и Чхенкели. Г. Дерман очень озабочена. Ей вся эта авантюра кажется очень подозрительной.

Чхенкели, наоборот, уверен, что отъезд организован Форштандом, но чтобы себя не компрометировать связью с русскими, взяли подставных лиц.

— Но зачем же такая тайна перед нами? И почему же чуть ли не вчера Хаазе уверял нас, что пока о выезде нечего и мечтать?

— Как вы не понимаете, — напускается на меня Чхенкели, — не могут же они сейчас оказывать нам покровительство открыто! Это их дискредитирует. Между тем, они обещали нас вызволить и теперь придумали способ...

— Но какой, какой? Значит, они действуют с согласия штаба?

— Вероятно. Но что это изменяет? Это услуга не нам, а уступка германской социал-демократии.

— Ну, а деньги откуда? Партия сейчас на нас и 100 марок не ассигнует...

— Может быть, за этим кроется богач Витт? Он нам очень сочувствует.

И все-таки по лицу Чхенкели видно, что затея и ему не особенно по-нутру.

Приступили к составлению списков. Кое-кого оповестили. Других включили без опроса.

Вечером в 8 часов собрались опять в условленном месте. На этот раз тут был и сам хозяин квартиры.

— Ну, все налажено, — встретил нас Фукс радостным возгласом. — План таков: — послезавтра, ровно в 6 часов утра, вы с ручными чемоданчиками (много вещей брать нельзя) выходите из дома. Направляетесь на вокзал. Завтра мы вам сообщим, на какой именно. Я сам вас усаживаю в поезд и довожу до шведской границы.

Тов. Дерман находит план „легкомысленным“. — Кто же позволит нам утром в 6 часов уйти из дома, да еще с чемоданчиком? Всюду шпики-добровольцы, моментально арестуют.

Возражение Дерман вызывает взрыв досады со стороны обоих — и Фукса и Гере:

— Да не выдумывайте несуществующих затруднений! Все предусмотрено. Доверяете вы нам или нет? Если нет — прекратим дальнейшие разговоры — и баста...

Чхенкели и С. спешат выразить доверие. Тов. Генриэтта Д. и я продолжаем возражать.

— Нас удивляет чрезмерная таинственность предприятия. Мы знаем, что тов. Фукс очень отзывчивый, хороший человек, но он часто витает в облаках. Если эта затея основана на его „романтических“ расчетах — мы можем попасть в ловушку. Если же за всем предприятием стоят другие „высшие силы“, то нам надо знать, почему собственно нас выпускают?

Чхенкели нетерпеливо обрывает нас:

— Как вы не понимаете всю бестактность ваших вопросов? Совершенно очевидно, что за всем этим стоит Цека партии. Никаким непорядочным сделкам здесь места быть не может.

Однако, наши настояния заставляют Гере призадуматься. К тому же в списках есть пробелы, которые придется заполнить. Гере предлагает встретиться еще раз завтра утром в восемь с половиной часов на Потсдамском вокзале, чтобы договориться о всех деталях.

— Итак, все пятьдесят восемь русских революционеров едут в Россию, — на прощанье повторяет Гере. Но в его тоне скрыт вопрос. И мне кажется, что слова: „едут в Россию“ — подчеркиваются сознательно.

— Вы обратили внимание на последний вопрос Гере? — спрашиваю я Генриэтту, когда дверь за нами захлопывается.

— Конечно, обратила. Что он этим хочет сказать и почему подчеркивает слова „русские революционеры“? Почему не „товарищи“ просто? И при чем тут „все едут в Россию“?

Наши мысли работают в одинаковом направлении.

Делимся сомнениями с Чхенкели и С... Но те раздраженно от нас отмахиваются; уверяют, что мы судим „по-женски“.

— Оставьте их, — бросает мне Генриэтта вполголоса. — разве вы не видите, что мысль вырваться из германского плена затуманила их разум? Поедемте сейчас к Ларину. Он трезвее смотрит на вещи.

Едем.

По дороге еще раз обсуждаем предприятие. И чем больше вдумываемся, тем яснее: за всем этим стоит германский штаб. Но даже если этого и нет, если вся эта затея организована партией с помощью личных связей (Фукс намекал, что „революционеры не должны отступать перед риском“), то и тогда наш отъезд не может пройти незамеченным, — пресса его подхватит, превратит его в то, что выгодно немецкому правительству.

Ларин из наших рассказов выносит то же впечатление, что и мы. Он против игры вслепую. Пока немецкие товарищи не сообщат, хотя бы одному из нас, суть предприятия, — ехать нельзя.

Ларин опять отмечает, что раздутый шовинизм Гере совершенно не вяжется с его неожиданно-горячей заботой о нашей судьбе. Очевидно, это „сделка“, и Верховное Командование пользуется партией или отдельными членами партии, чтобы перекинуть в Россию „агитаторов“.

— Фукс должен нам сказать, что за этим кроется, иначе я не еду. Да и какое право имеет комитет ставить в список товарищей, которых мы даже не опросили, хотят ли они участвовать в этой сделке или нет? Я не поеду до тех пор, пока Гере и Фукс не раскроют карты. И списка я не дам.

С этими словами Ларин складывает список товарищей и прячет его в карман. Это своего рода coup d'état. Но мы его всецело одобряем. Прежде всего — ясность.

В половине девятого утра на другой день Генриэтта и я на Потсдамском вокзале встречаем Гере и Фукса.

Обе мы не спали. Сознание, что мы проваливаем предприятие, за которое ухватились товарищи, опасения, что наш плен может затянуться до конца войны и главное — страх за возможные неприятности и даже опасности, могущие постигнуть в плену наших мужчин — все это заставляло всю ночь беспокойно ворочаться с боку на бок.

И все же обе мы решили вести дело начистоту. Ясность, а там уже — согласие.

— Давайте, давайте списки! — еще издали кричит Фукс, спеша к нам навстречу. — Все препятствия устранены. Завтра

в шесть утра — мы едем. До часу ночи мы с Гере бегали, высунув язык, чтобы оборудовать, как следует, ваш отъезд".

— Простите, тов. Фукс, но списков мы вам передать не можем. Раньше мы должны все-таки знать, кто организует наш отъезд?

— Что?—Фукс даже привскакивает на месте.—Опять эти русские „принципы"!.. Да, если вы не желаете ехать, на кой чорт заставляете вы нас из кожи лезть, чтобы вас отсюда выпроводить? Списки нужно представить до десяти часов. В противном случае отъезд ваш провален. Пеняйте на себя. Я умываю руки.

Обе стоим на своем: — мы должны знать, кто стоит за этим предприятием? Форштанд? Кто-либо иной?

Чтобы не привлекать внимания нашей чрезмерно оживленной беседой, мы заворачиваем в глухую аллею Тиргартена.

Гере, не меньше Фукса, раздосодован, разобижен.

— Значит, вы считаете нас способными вовлечь вас в неопрятное дело? Замарать вашу партийную честь? Мы считали, что вы настолько преданы общему делу, что готовы на всяческий риск, лишь бы скорее добраться до России.

— Да, но большинство из нас вовсе не намерено вернуться в Россию,—поясняю я.

— Как не намерено? Куда же вы едете? Зачем?

— За исключением Чхенкели, тов. С. и еще двух-трех, действительно едущих в Россию, все мы остаемся в нейтральных странах.

— И будете вести оттуда революционную работу для России?

— Зачем только для России? Мы — интернационалисты, я, например, ставлю себе задачей остаться в самом тесном контакте с германскими товарищами, которые тоже не мирятся с войною и будут работать для воссоздания Интернационала.

— И так думает большинство из едущих? — У Гере на лице недоумение и явное разочарование.

Фукс нервничает.

— Не знаю, большинство ли, но то, что лишь несколько человек едут в Россию — это факт.

— Гм... Это несколько меняет картину... Гере озабоченно нахмурен.

А Фукс хватает меня за плечо и злым шепотом, за спиной Гере, кидает:

— Кто вас просил пускаться в откровенности?.. Теперь вы все дело провалили.

Гере углубляет вопрос с Генриэттой. И уже не настаивая на получении списков, спешит с нами распрощаться.

Фукс идет с ним.

— Ох! уж эти женщины. Нет! политиков из вас никогда хороших не получится. На это у вас слишком длинный язык.

Но мы с Генриэтой Д. улыбаемся облегченно.

Провалили предприятие — ясно.

Но так правильнее.

Через час я прихожу в условленную квартиру.

Припертая к стене, расстроенная, несчастная, стоит Генриэта Д., а на нее со всех сторон наступают: Чхенкели, С., ее собственный муж и другие. Радостно приветствует меня, ища подкрепления.

— Ну, конечно, послали баб, — доносится голос Чхенкели. — Они все и провалили. Кто вас просил допытываться? Не все ли равно, кто стоит за этим предприятием? В конце концов это нас ни к чему не обязывало. Выехали — и баста! А вы вздумали „принципы" не к месту разводить. Теперь сиди пленниками, когда в России работа кипит...

С. поддерживает Чхенкели, он находит, что большей глупости мы сделать не могли. Все прекрасно понимали, что без санкции Верховного Командования отъезд наш был невозможен. Но об этом умалчивали. И когда бы мы очутились по ту сторону границы, мы бы сумели „отплатить" Верховному Командованию разоблачением их гнусного плана. Таким образом, в дураках остались бы немцы, а не мы.

Спорим.

Ларин на нашей стороне.

Чхенкели выражает надежду, что дело еще не окончательно погибло. Ждут Фукса.

Фукс появляется, но с кислым видом. Бросает портфель на стол и садится равнодушно скрестив руки.

Общее молчание.

Чхенкели осведомляется о положении дел.

— Это вы насчет отъезда? Вопрос исчерпан. Вы сами его провалили.

Спор возобновляется.

Ларин — с одной стороны, Чхенкели, С. и Фукс — с другой.

— Да, какая же это сделка? — кричит Фукс. — Разве у вас требовали расписки?.. Ничего подобного... С обеих сторон — все лишь „подразумевалось"... Вопрос шел о том, кто кого околпачит... Конечно, Гере воображал по своей шовинистической глупости, что вы все едете, чтобы поднять в России восстание и что вы сочувствуете победе Германии. Также считали и те, кто давал вам разрешение на выезд... Ну, и ехали бы себе спокойно в Данию, Америку, Швецию... Кто бы с вас там что-либо спрашивал?.. А теперь — дело провалено. Гере высказал все свои сомнения в некоторых

учреждениях. Я не удивлюсь, если вы попадете теперь в списки „подозрительных“ и если вас опять не переарестуют.

Фукс сидит, заложив руки в карманы, будто равнодушный, а на самом деле взбешенный.

Наши ищут компромисса.

Фукс твердо стоит на том, что теперь уже поздно. План провален.

Расходимся.

Наши мужчины еле прощаются с нами, двумя виновницами сорванного предприятия.

Генриэта очень несчастна.

— Как вы думаете, Фукс просто от злости угрожал арестами, или может быть опять будут арестовывать наших? Если что с ними случится — я себе никогда не прощу, что помешала отъезду.

Успокаиваю Генриэту.

В глубине души я рада, что из этого предприятия ничего не вышло.

С тех пор прошло два дня. О Фуксе — ни слуха, ни духа. Но и арестов пока нет. Очевидно, придется сидеть пленниками до конца войны.

31-го утром.

Отступление русских в Польше похоже на бегство. Продвижение в Пруссии — приостановлено. В колонии у многих уныние.

Огорчаться поражением царских генералов? Где же логика друзья мои?..

31-го вечером.

Вернулась поздно. Пришлось ездить хлопотать за арестованного. Потом навещала больного К.

Шла по Груневальду. Пустынный он сейчас. Вымерший. А вечер был дивный, теплый, летний, душистый...

Застала Софью Борисовну и Карла (Либкнехты). С. Б. теперь часто к нам забегает посидеть. Будто жмутся к нам. Нет у них контакта с патриотами.

Либкнехт выглядит утомленным; издерган. Живет под угрозой мобилизации.

Среди товарищей есть уже убитые.

Говорили о том, в какой форме должен возродиться Интернационал. Говорили о будущности антимилитаризма.

Каутский безнадежен. Вурм — патриот. Ледебур еще держится. Но Карл считает, что чем дольше война будет длиться, тем меньше будет трезвых голов.

Карл одобрил наше поведение по отношению к фуксовскому предприятию. Он ничего об этом не знал. Предполагает, что это шло помимо Форштанда.

31-го августа.

Первое морское сражение между английской и германской эскадрами у Гельголанда.

Победа Англии. Наши радуются...

Морское сражение — что может быть чудовищнее?

1-го сентября.

Встретила на-днях тов. Э. Он теперь близок к военному миру. Говорили о продвижении русских, о поражениях германских войск.

— Эти поражения — кажущиеся. Преднамеренные. Мы не боимся вторжения русских с востока. Это — стратегический маневр. Все предусмотрено. Русским дают возможность продвигаться до границы, заранее предопределенной планом военных действий нашего штаба... Русских ждет неприятный сюрприз. Вы знаете Мазурские болота?.. Там остается открыть шлюзы и русских затопят, как крыс.

— Вы думаете русское командование позволит себя завести в ловушку?

— Есть все очевидности, что в России не осведомлены о плане наших действий. Иначе они избрали бы другую диспозицию. Вся армия вашего героя генерала Самсонова уже сейчас в ловушке... Погибнут десятки тысяч...

Это говорит „товарищ“ с полным равнодушием, будто о гибели саранчи... Погибнут десятки тысяч? Среди них большинство рабочих, крестьян... Может быть, товарищей... Идут, не подозревая, что впереди уготовлена пасть смерти... И кем? Кем?..

Неужели немецкие товарищи не могут предотвратить этой гибели сотен тысяч?

„Такое действие — есть шпионаж“.

Стало скверно. До тошноты. Такое ощущение — будто вижу, как разбежавшийся поезд мчится в ночной тьме, не подозревая, что мост через пропасть рухнул...

Сегодня в газетах есть уже сообщение о чудовищном поражении русских близ Танненберга. Взято в плен тридцать тысяч. Армия Самсонова, окруженная с трех сторон, погибла в Мазурских болотах. Генерал Гинденбург — герой дня. Второй Наполеон. Генерал Самсонов убит.

2-го сентября.

Встреча вышла тяжелая. Я ждала другого. Тов. Анна Г. — „дитя пролетариата“. Отзывчивая. Человечная. Органически - неотрываема от масс. Еще весною вместе проводили в Саксонии митинги против милитаризма. И как она тогда понимала угрозы войны. Как сильно отмечала опасность ее для пролетариата.

Верилось, что именно она — будет с нами, с теми, кто „не приемлет“ войны. Для кого-то, что совершается,—кошмар.

Потому-то я и написала ей. Звала ее.

Приехала.

И сразу — трафарет: на бедную Германию коварно напали. Сговор аллиэ. Россия хочет пробить себе путь к Северному морю, завладеть намецкими портами... Франция заслуживает своей участи за свой противоестественный союз с Россией. Но, разумеется, коварнее всех, более сознательно-злостно — поведение Англии.

— Только теперь, в годину бедствий, я поняла, как люблю свою родину... Я люблю каждую пядь немецкой земли, орошенную потом моих предков. Я страдаю, что я женщина, что я не могу взять ружья и встать в ряды тех, кто умирает за дорогую Германию... Защитить ее, отстоять ее...

Слушаю и ушам не верю. Шутит она?

— Анна! Ты же знаешь, что „коварное нападение“ на Германию — сказка. Ты же — социал-демократка и должна знать корень войны и ее причины...

— Разумеется, я знаю коренные причины войны, но ведь они действуют не с июля 14 года! Они длительны и глубоки, как все социально-экономические явления... Но непосредственный повод к войне дали не мы. Мы — войны не хотели. Мы сделали все, чтобы войны избежать... Аллиэ нас вынудили к ней... Нам остается — обороняться. Мы не можем допустить, чтобы царь завладел нашими гаванями и оттуда угрожал Берлину и самому рабочему движению... Наше поражение — равносильно поражению мировой социал-демократии. Пойми же, мы защищаем не просто родину, мы защищаем страну с самой сильной, вышколенной, дисциплинированной рабочей партией всего мира.

Я не выдерживаю и кидаю ей в ответ горькие упреки в чрезмерной „вышколенности“ и „дисциплине“ масс, которая отучила их мыслить, критиковать, которая приучила лишь приходить в движение по паролю из Форштанда...

Спорим.

Она доходит до того, что провозглашает войну „священной“ во имя защиты германской социал-демократии! И это после голосования в рейхстаге...

Я не вижу разницы между точкой зрения патриотов-социалистов и самых обыкновенных буржуазных шовинистов.

Анна сердится. По ее мнению, эта разница — существенная. Социалисты отрицают войну наступательную, они — противники „империализма“, они — за одну лишь „чистую самооборону“.

Напоминаю о Бельгии, о том, что немецкие войска идут на Париж.

Ответ — это лишь необходимый маневр для укрепления самообороны.

Точь-в-точь, что говорит и буржуазная пресса, что поет „Форвертс“.

И сама же рассказывает, как на громадном собрании работниц, где Анна призывала женщин „утереть слезы“ о близких и встать на работу вместо мужчин, чтобы облегчить и ускорить победу, а с ней и конец войны, вставали одна за другой работницы и бросали ей, Анне, упрек, что она рассуждает по-буржуазному, что у пролетариата нет отечества, и что война на пользу только богачам.

— Вот когда я поняла, сколько зла мы наделали своей демагогией, своим упрощенным подходом к столь сложному явлению, как война.... Сейчас нельзя, наподобие попугая, повторять заученные фразы о том, что у пролетариата нет отечества... Оно есть! Мы все это чувствуем... Erst das Vaterland, dann die Partei (сначала родина, потом уже партия).

Дальше итти некуда.

— Проверь себя, не потому ли ты так „интернационалистично“ настроена, что ты в глубине души чувствуешь всю слабость России, ты боишься ее поражения и потому против победы Германии? — Это Анна кидает мне с ошибочной „прозорливостью“.

Мы говорим на разных языках!

— Ну, а если бы твоего сына взяли на войну, что бы ты сказала, что бы почувствовала?“ Пробую я задеть в ней другие струны.

— Что? Я каждый день жалею, что мои мальчики слишком юны, чтобы итти на линию огня... Мне бы радостно было наряду с другими германскими женщинами принести родине и эту жертву.

Пропасть выросла между нами.

Ее не перейдешь...

Мы расстались с внутренним холодом. Был у меня друг дорогой, созвучный товарищ. Сегодня его не стало. „Kriegsverlust“ (военная потеря)...

3-го сентября.

...Все думается о судьбах социал-демократии. Совершилось величайшее „грехопадение“ крупнейшей рабочей партии и что же? В политике она перестала играть роль. О ней не слышно. События идут через ее голову.

Форштанд думал или, по крайней мере, уверял нас, что, заключив „перемирие“ с монархическим правительством, партия обеспечит себе огромное влияние на ход дальнейших событий.

И ошиблась в расчете.

Фраза о „единстве Германии“ — не пустой звук. Никто больше самой социал-демекратии не старается создать иллюзии о полном растворении всех партий в шовинистическом экстазе. На собраниях по районам находятся еще и сейчас смельчаки, единицы, которые высказывают свое порицание позиции, занятой партией, призывают к забытым паролям классовой политики. „Грозятся свести счеты“ по окончании войны. Их заставляют молчать. Не верхи даже. Сами же рабочие, одураченные ловкой игрой в „единство“.

Либкнехт был на-днях в Деберице. Ездил расследовать зверства, которые творились охраной, солдатами над пленниками.

Его встретили радостные возгласы:

„Да здравствует тов. Либкнехт!“

Оказалось, его же избирали рабочие Потсдамского округа...

Что делают союзы?

Заняты расточением боевых фондов союзов на помощь „жертвам войны“.

Стачки. Да, бывают и стачки, экономические. Но строго локализованные, бледные, будто „сконфуженные“, что они все-таки еще „есть“...

Союзы вместе с партией озабочены штопанием социальных и материальных прорех, какие, что ни день, то в большем количестве продалбливает война в общественном организме...

В колонии восхищаются умением социал-демократов найти „практический стержень“ работы при каждой ситуации. Восторгаются борьбой за увеличение пособий семьям мобилизованных, устройством дешевых столовых, заботой о детях...

Чистейший оппортунизм. А наши зовут это „разумной приспособляемостью“.

О партии, как и о политическом целом, ведущем определенную политику, — ни звука. „Форвертс“ перепечатывает буржуазные газеты. Отличается лишь тем, что новости попадают на его столбцы сутками позже.

Ни единого протеста. Тишь да гладь!..

Нет ни стихийных вспышек при мобилизации, ни отказа от призыва...

На юге Германии рабочие, если верить газетам, сжигали красные знамена и водружали на их место германский имперский флаг.

Запись добровольцев пополняется „организованными“... Пример Франка заразителен. Верхи поощряют. Рабочий привык слушаться приказа. В комитете — все обдумали, предусмотрели за него. Остается подчиниться. Раз пароль дан — „единство“, значит, так и должно быть. Что из того, что пароль этот резко противоречит вчерашним лозунгам, всей программе партии!.. Так сказал Форштанд. Он — все знает. Ему и книги в руки. А рабочие что? Их дело — быть „дисциплинированными членами“, т. е. другими словами, брать на веру директивы комитетов. Не думать и не рассуждать.

На эту тему мы вчера долго говорили с Либкнехтом. Он также страдает от этой притупленной способности мыслить, от этого преступного избытка дисциплины...

Война становится популярной, народной... А ведь первые дни она не была таковой. На ком вина?

Тяжкий грех немецкой партии, что она „допустила“ войну стать популярной. Если бы она с первых дней заняла критическую позицию, если бы она не покинула своей интернациональной линии — этого никогда бы не случилось...

„Форвертс“ дошел до неслыханного падения: помещает ряд возмутительнейших лживых статей о России некоего Шагрина (очевидно, псевдоним). Обвиняют русских рабочих в зверствах.

Мы поспешили указать редакции на недопустимость подобных статей. Редакция ответила: „поместили по недосмотру“.

„Недосмотр“ в период военной цензуры?

А шовинистические статьи Бернштейна тоже помещены „по недосмотру“?

Хвастаются: „теперь зато „Форверст“ допущен к продаже на вокзалах.“

„Если бы писали в таком тоне до войны, „Форверст“ давно бы продавался в вокзальных киосках,“ правильно ответил тов. Тальгеймер.

Хвастаются, что члены партии избираются во всевозможные комитеты и комиссии наравне с ультра-правыми. Считают это „победой“.

„Победа, которая стоит партии уже сейчас пяти миллионов марок, фактического разгрома организаций и потери престижа партии в Интернационале“, с горечью отмечают немногие оппозиционеры-интернационалисты...

Хоть бы кому-нибудь пришло в голову издать нелегальную газету, хоть бы листовку!.. Либкнехт говорит, что это „не пойдет“, что для Германии важнее открытое выступление.

Характерно, что немцы не осуждают французов за голосование. Не поражает и не возмущает их и вступление Гэда и Семба в министерство, участие Вандервельда в правительстве.

Нас больно ударила новость о Гэде. Долго не верили. А немецкие эсдеки — считают это „естественным“. Может быть и Хаазе метит в министры? Может быть, в поведении романских социалистов ищут косвенное оправдание себе? Уготовляют себе „амнистии“ в Интернационале после войны?

Только отдельные голоса, не интернационалисты, нет, а именно ультра-патриоты — обрушиваются на Гэда за измену... Чему? „Солидарности с Германией“, с бедной Германией, на которую так коварно напали...

Странная путаница в головах. О французской республике говорят с пренебрежением: „насквозь прогнила“. Россию идут освобождать от гнета царизма пушечными выстрелами, массовым убийством русских рабочих, крестьян...

И это творится в недрах партии, которая все эти годы тратила невероятную энергию, чтобы создать у себя „чистоту принципов“... Партия, которая вышвыривала недостаточно „чистых по взглядам“ членов (бедный Гильдебрант, какой он „ручной“ патриот по сравнению с Шейдеманом, с Венделем, с Эбертом...). Партия, которая била и „правых“ и левых, чтобы найти „принципиальное равновесие“ и отстоять „чистоту“ мировоззрения...

„Доверием“, поднесенным правительству, партия связала себя по рукам и ногам. Теперь ей остается катиться по наклонной плоскости.

А наши? Много ли лучше наши?

В колонии меньшевики и большевики. Разница не велика.

Немцев критикуют. Доходят до возгласов: „Эх, прогулялись бы наши казаки по Берлину, повыбило бы это списи у немцев“. Но это, конечно, эксцессы разобиженных пленников, а не „политическое суждение“.

Суждений же, т.-е. сколько-нибудь серьезной оценки событий, — ни у кого. Или вернее, она есть и у У. и у С., и у Чхенкели, но вся она клонится к оправданию позиции немецкой или французской партии, к выводам, что при создавшейся мировой конъюнктуре — иначе поступить нельзя.

С. явно склоняется на сторону Франции и защищает Гэда. Л. оправдывает немецких соци, но и стоит за победу России... У. определенно „русский патриот“. А большинство оправдывает все партии — и германскую, и француз-

скую, но все же желает „поражения Германии“, сиречь— победы России...

Ледебур считает, что если Германия выйдет победительницей — социал-демократию беззастенчиво задушат.

„Тогда собирай пожитки и утекай отсюда или переходи на нелегальное положение“...

4-го сентября.

Продолжаем жить в полной отрешенности. О том, что говорится во Франции, знаем из извращенных сообщений газет. Как будто в Англии движение против войны приобретает серьезный характер. Но уже ничему не веришь, что напечатано на германском языке.

... Есть ли лозунг, который массы стали бы защищать теперь ценою жизни? Мир?... Нет. Он бледнее лозунга „победа“. Требование мира близко лишь матерям, работницам...

... Томит, удручает полная бездеятельность. Связанность. Мы — чужие. Наши силы не нужны.

Неужели в самом деле нас не выпустят до конца войны?..

5-го сентября.

... Виделась с Розой (Люксембург). Свидание было краткое, но оно меня освежило. Голова у Розы — ясная. Беспощадный сарказм ее многое ставит на свое место.

Нелегальную работу она пока считает преждевременной. Частные совещания уже сейчас происходят. Связи с массами она не теряет. Взятые в отдельности, рабочие и сейчас вовсе не воодушевлены войною.

Отметила роль, какую могут сыграть женщины при растущей дороговизне. Роза согласилась. Рассказала про Клару. Осуждала Гэда. От Вандервельда она ничего другого и не ждала...

6-го сентября.

... Получила любезное предложение от профессора Т. (известного математика) в его личном несгораемом шкафу сохранить мои рукописи, письма, вообще ценные документы и материалы.

Охотно приняла предложение. Судьба моих рукописей— мой кошмар.

Вечером с сыном отправились к профессору.

Дом — особняк, с палисадником. Большая семья. Профессор — старик, седой, с большим умным лбом. Похож на Маркса. Жена — сухенькая, седенькая, в кружевной косынке на голове. Истинный „оруженосец“ мужа. Пара из отжи-

вающих; всю жизнь шли рука об руку. Она — его тень, его бледный резонатор.

Многодетная семья. Все уже взрослые. Женатые. Рассыпаны по миру.

А в доме — убранство пятидесятых годов стоит твердо и неподвижно, точно в пол вросли широкие кресла, точно частицу стен составляют портреты в золоченых рамах...

Кабинет — весь в книгах. Просиженный стул с вышитой и выцветшей подушкой.

В доме всегда царил благодушный покой и старомодное, отживающее радушие.

Но сегодня и здесь застыли слезы, притаилась ледянящая жуть войны.

Три взрослых женатых сына мобилизованы. Четвертый — юноша, жених, покидает Берлин на утро.

Невеста — в доме профессора.

В передней — шинель. Походные ремни. Раскрытый чемодан.

Жена профессора старается быть приветливой. Но глаза у нее красные и бант на груди помят... Сегодня проводила уже двух сыновей. Младший — любимец Гейнц — уйдет утром туда, в неизвестное...

Профессор — молчалив. Часто покашливает. Горе душит...

Гейнц, в походной форме, сидит поодаль, держит невесту за руку.

Мэри будто спокойна, но лицо вдруг вытянулось и странно подурнело...

Сдаю бумаги.

Профессор заботливо запирает их в несгораемый шкаф, вделанный в стену.

— Здесь ваши бумаги могут оставаться в полной сохранности до конца войны... А конец ей быть должен. Все явления имеют начало и конец. Понимаешь, мать? — обращается он назидательно к жене.

Она печально кивает в знак согласия.

В гостиной все также неподвижно сидят жених и невеста. Держат друг друга за руку, вполголоса перекидываются краткими вопросами и ответами...

Зловещий призрак витает сегодня в квартире профессора.

И было странно, что нам, „врагам“, русским, профессор так просто, по человечеству, оказывает услугу...

Когда мы уходили, мне казалось, будто я слышу, как косарь-смерть точит свою алчную косу у порога дома многодетной немецкой семьи...

Четыре сына на линии огня...

Кто уцелеет?..

12-го.

Это решено — завтра рано утром мы покидаем Берлин. Совершилось оно нежданно; влетает Генриэта Д. с новостью. В комендатуре толпа отъезжающих русских. Вышло постановление: вывезти из Германии на специальных поездах женщин, детей и больных, подданных союзнических стран. Но выпускают, очевидно, не одних больных и женщин. Генриэта встретила в комендатуре Чхенкели и С., они ей показали свои пропуска и билеты. Первый поезд идет завтра.

Генриэта была возмущена дезорганизованностью колонии. „Нетовариществом“.

Начали действовать. Поехали на квартиру Ларина. Оповестили, кого можно. Мобилизовали других, чтобы провести отъезд „планомерно“.

Выяснили условия выезда: свидетельство врача о болезни и полной непригодности к военной службе.

Где достать такое свидетельство?

Конечно, звонок к Либкнехту.

По телефону — неудобно.

Поехали к нему.

Два адреса. Теперь застать врача.

И это дело уладили.

С утра — в комендатуру.

У ворот — толпа русских. Не сотни — тысячи. Полиция тщетно водворяет порядок. „Прут“. Шум, руготня. Отборная, русская.

Давка. Слезы. Обмороки.

Записка от все того же вездесущего Фукса раскрывает заветные ворота.

Шпалеры ожидающих.

Фукс — здесь. Распоряжается.

Тут же — Гейне, Витт.

Свидетельств врачебных у меня два: для сына и для Ш. Выдают, однако, два пропуска, но всего один билет. „Другой“ может подождать. Поезда переполнены.

Для меня — билет особо.

Встречаю товарищей — ропчут: почему одни получили билет, другим не дают? Недовольны „комитетом“. Упрекают.

Генриэта хлопочет, улаживает...

Первый поезд идет завтра. С ним едут: Чхенкели, Ларины, Дерманы. Нам с сыном выдали билет на понедельник...

... Дома встречают меня оба Ш. Бэлочка — в слезы. Если я не сумела достать билет для нее и мужа — значит, они „пропали“! Значит, их не выпустят!.. Что будет с ними, когда я уеду?

Что делать?

Сговариваемся с сыном. Отдаем свои билеты им, благо для Ш — ва я достала у врача свидетельство, и пропуск на его имя имеется.

Но, очевидно, нам придется ждать следующих очередей. Поговаривают, что поезда пустят всего три дня подряд, затем приостановят. Перспектива — невеселая. Особенно после того, как товарищи разъедутся.

С этим сознанием пришлось провести длинную, скучную ночь.... А утром — прилетела Генриэта: с двумя билетами на завтрешний поезд. Возмутилась, как так, чтобы я осталась? Недопустимо! И добилась.

Как всегда, Генриэта — товарищ...

... Вчера вечером у Ларина порешили перед отъездом повидаться с членами Форштанда. Договориться: во-первых, какова дальнейшая политика партии. Каково отношение к аннексии? Каковы перспективы по отношению к Интернационалу? Намерены ли искать связей с партиями союзных стран? Согласны ли поддерживать связь с русской партией?

Решено было поставить вопрос ребром: как согласовать две противоположные тактики в отношении к войне: немецко-французскую (голосование кредитов) и русскую?

Собрали резолюции съездов, интернациональных и национальных, по вопросу о позиции, которую должны занять социалисты в момент угрозы войны. Решили опираться на Базельскую революцию.

Свидание состоялось сегодня утром. Решено было держаться тона „информационного".

Не удержались. Страсти разгорелись. „Наступление" открыл Ларин.

Чхенкели ребром поставил вопрос: — Хорошо! Вы сейчас, по вашему у б е ж д е н и ю, боретесь против русского самодержавия, в интересах демократии и русских рабочих. Пусть так! Но, представьте себе — в России вспыхивает революция. Под влиянием войны — это возможный исход. Финансовый кризис, дороговизна, недовольство крестьян... Одним словом, в России — переворот. Россия становится республикой. Самодержавие упразднено. Все свободы водворены. Что вы тогда будете делать?.. Что вы ответите, если мы тогда попросим вас очистить территорию?

— Это будет зависеть от того, как вы поступите с Польшей, с Прибалтийским краем, с Финляндией?

— Позвольте! Разве войну вы ведете за освобождение Польши? Финляндии?

Ответы членов Форштанда — один уклончивее другого.

Хаазе уверяет, что партия не покидает своей „интернациональной позиции". Он приветствует от имени Форштанда предложение русских товарищей установить „контакт" между партиями.

Остальные члены Форштанда молчат.

Узнаем, что уже заготовлен манифест партии, протестующий против аннексий Бельгии. И вообще отмечающий линию раздела между точкой зрения социалистов и буржуазных партий: социалисты — за войну, когда дело идет об обороне страны, социалисты — против, когда война принимает характер захватный.

Но где же, где эта граница?

Спорим горячо и безрезультатно.

Расстаемся суховато, но с решением установить взаимную информацию через нейтральные страны и, по возможности, сохранить контакт.

Решено также, что т. Ларин проедет в Стокгольм и там образует своего рода бюро связи и информации, я — отправлюсь в Копенгаген и буду действовать оттуда. Дерман — уедет в Америку для работы из-за океана.

У Ларина — опять вся колония.

Сегодня настроение повышенное. Еще бы — плен на исходе. Конец томительному бездействию.

— Как только вернусь в Россию — сейчас же запишусь в сестры милосердия, — заявляет жена Г.

„Что? Ушам своим не верю.“ — Вы, большевичка, и в сестры?

Сазонов ее поддерживает. Момент требует реальной работы.

— На войну?

— Что значит — на войну? Надо использовать настроение, чтобы группировать общественные силы вокруг живого дела в противовес чиновничьему режиму...

— Одним словом, повторять ошибки немецких социалистов!..

И опять спор.

В колонии, со мной согласны только Дерманы. Остальные — все почти скрытые русские патриоты, какими бы фразами они это ни покрывали.

У. завел себе карту и на нее ставит флажки, передвигая их в зависимости от хода военных действий...

... Комендатура дала строгий приказ: ни рукописей, ни книг, ни писем — не увозить из Германии.

Как же остаться без „орудий производства“?

Во всяком случае, свои заветные тетради-дневники захвачу. Если умела здесь их припрятать так, что они не попались в руки полиции, тем легче провезу „контрабандой“...

6-го сентября.

Утро.

... Только что бросила по телефону свое спешное „прости“ милым Либкнехтам. Увидимся ли? Когда? При каких условиях? Не верится, что плен бездействия кончен. Завтра мы на нейтральной почве. Завтра узнаю, наконец, что думают, предпринимают наши партийные центры...

Завтра прочту известия из России, не прошедшие цензуры генералов Кесселей.

Работа по собиранию сил. Лозунг: „война войне“. Уверена, что, опираясь на нейтральных товарищей, еще много можно сделать. Хочется, как в детстве перед праздником, пожелать: скорей бы завтра!..

... Солнечное, но уже осеннее утро. Желтеют мои любимые каштаны под окном. А небо высокое, осенне-чистой синевы.

Через два часа поезд увезет нас из Берлина, из Германии...

Гляжу из окна. Прощаюсь не только с целой законченной полосой собственной жизни, но с чем-то бо̀льшим, много бо̀льшим. Более важным... С отрезом истории, с эпохой, которая отошла навеки в область летописи...

После войны мир будет иным?

Каким?..

... Цветы.. От хозяйки пансиона.

Прощай, Берлин! Прощай, когда-то так горячо-любимая партия, чужой ставшая...

Глаза мои отрываются от прошлого без слез.

Гляжу вперед.

В будущее...

